

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЛЕТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Юрий ЛИБЕДИНСКИЙ

РОЖДЕНИЕ ГЕРОЯ

Л А П П
П Р И Б О Й

1930

ЧИТАТЕЛЬ! ОТЗЫВ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ПОШЛИ ПО АДРЕСУ: МОСКВА,
ИЛЬИНКА 3, ГОСИЗДАТ, В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА „КНИГА И РЕВОЛЮЦИЯ“

Обертка работы
Е. Г. ДОРФМАН



Ленинградский Областлит № 57133
6 л. Тираж 10000 (X, 20, 39159/Пр.)

И кончались романы
Или смертью, или свадьбой,
Но рождением героя
Не кончались никогда.

Б. Лихарев.
Литературный монолог.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Радужный мыльный пузырь толчками поднимается вверх, он блестит голубизной и золотом, — и вся комната — кровать, комод, зеленая ширма, куча пестрых игрушек в углу, — все это, выпукло отражаясь, дрожит в нем... Нагая женщина мылит свои волосы, под руками ее пузырится белая пена, и сверкающие потоки мыльной воды растеклись по желтому линолеуму. Женщина выпрямилась, — прозрачно-серебристые, почти голубые тени побежали по молочно-смуглой спине, и над широкими бедрами обозначились две одинаковые мягко затененные ямки. Женщина передохнула, и в лад ей передохнул Шорохов, попятился за порог комнаты и закрыл дверь так же бесшумно, как и открыл ее. И вот он опять в сумраке коридора перед дверью своей квартиры, но эта нагота мерцает перед ним — она словно вобрала белый блеск апрельского солнца и ослепила глаза — и он находит ее название — «Люба. Наша Люба. Наташина сестра». Имя умершей жены вызывает привычную скорбь и заставляет подбирать такие слова: «Ну и ничего, пустяк, она не затворилась, я не постучал... И она ничего не слышала. И словно ничего не было...» Но он ощущает врезавшийся в ла-

донь, крепко зажатый плоскоський английский ключ. «Вот я вынимаю папиросу, вот я спускаюсь вниз по лестнице, — я выйду на улицу. . . Вот я стою у подъезда, курю, и там все это кончится. . .»

Перед ним была сверкающая мокрым асфальтом центральная площадь столицы, и он, как на солнце, щурил глаза на расплавленный блеск стекол универмага, где кипело людское движение и гомон. Одиночками и группами снова и снова притекали туда люди; они стремились, чтобы универмаг поглотил их, и он их поглощал, торопливых и беспокойных, и одновременно извергал других, уже медлительно озабоченных своими покупками и рассеивающихся по всей широкой площади. . .

Где-то, невидимое за шеренгой домов, лязгало и визжало листовое железо. Над Домом Союзов алело и трепыхалось большое полотнище. И мимо Шорохова прошел человек; бережно, отставив от себя, нес он игрушечного серого в яблоках коня. На человеке было еще не обмявшееся, твердо-магазинное пальто, блестящее чернотой больших пуговиц, и он сконфуженно и ласково улыбался всеми хорошими морщинами усталых своих щек, а конь в его руках скалился добродушно и весело. И Шорохов разом поставил этого человека в центре всего, что было сейчас вокруг, и этим человеком все осветил и вспомнил цепенеющий и недвижимый день в зиму не то девятнадцатого, не то двадцатого года: эта же площадь, это же полотнище на Доме Союзов — и тихое движение немногих людей, серые оцветшие крыши домов, звонкое цоканье идущей на рысях кавалерийской части и засыпающий на остановках, затихающий трепет трамвая. А сейчас трам-

ваи, казалось, вели вокруг площади хоровод, они двигались и останавливались и опять катились, звеня и сотрясая воздух, и сложный ритм их движения, казалось, выражал могуче-нарастающий подъем всей многомиллионной страны.

И с каким-то новым волнением вслушался Шорохов в то, как гортанно журчали канавы, и в них, переворачиваясь, исчезая и опять появляясь, проплывали спички, окурки, бумажки, соломинки, лошадиный кал — весь тот городской мусор, гниение которого задержал мороз и который сейчас тлел в мутной воде, едко и раздражающе пахучей. Серебром и радугой ломался в ней солнечный свет, и кучи тающего снега пеной бугрились у тротуаров, и на черные крылья авто оседали капли, опять и опять отражавшие мир в тусклой своей глубине. И Шорохов округлившимися ноздрями потянул воздух и услышал простой и сильный запах весенней земли, пробивающийся сквозь городские бензинно-горькие ароматы, так же как там он пробивался сквозь душистую пряность мыла и одеколона... Шорохов резко потушил в себе все это. Но судорожное его беспокойство осталось, только стало оно немым. Он вынул из кармана газету. Он читал, отдельно произнося про себя слова, и медленно поднимался по лестнице. Он постучал в дверь своей квартиры. Все было как бы так, точно он сейчас только возвращается домой.

— Вот как ты, Степа, пришел ко времени, я только кончила мыться...

Тяжелая прядь темных, с рыжим блеском, волос выбилась из-под застиранной розовенькой косыночки на ее белый лоб; она заправила ее, с полуоборота глянула светлым голубовато-зеленым глазом, засмея-

лась, — и словно в первый раз увидел Шорохов и эту знакомую косынку, и этот характерный для Любы быстрый взгляд искоса, и ее красные и яркие губы, и ее блеснувшие белизной мелкие зубы, и ее голос и смех — нежно и низко журчащие звуки, немного хриповатые, словно насыщенные влагой. Голубой апрельский день льется в окно, влажный линолеум подсыхает пятнами, в воздухе чуть ощутим тонкий и раздражающий аромат. И, словно страшась, Степан Григорыч отвернулся от Любы.

— А ребята где? — спросил он и сам обрадовался этим словам, явившимся машинально и включившим его в обычный мир.

Точно почувствовав опору под ногами, он поднял на Любу слегка прищуренные, как от сильного света, глаза и постепенно расширил веки, — ее новая страшная прелесть погасла: перед ним была домашняя Любка, рыженькая девочка. И он почувствовал усталое успокоение. . .

Люба рассказывала о детях, — и дети тут же пришли, возбужденные и веселые — они принесли с собой те же едкие запахи весенней улицы. Подчиняясь привычной смене образов, Шорохов тихо прошептал имя умершей жены.

«Вот и все вернулось к старому. . .» — сказал он себе, глядя, как быстрый скуластый и смуглый Борис — весь в Шороховскую татарковатую и сухую породу — о чем-то горячо рассказывает, как внимательно слушает задумчивый светлоглазый, кудрявый, похожий на мать Валька, как усмехается раскрасневшаяся от еды перетирающая посуду Люба. И чтоб еще раз утвердить, что все по-старому, он стал говорить о мерт-

вой так, точно она была жива, но в отсутствии, и жадно, перегнувшись через стол, слушал его Борис и, задумавшись, Валька, и, сведя брови, перетирала посуду Люба. . . А он, разбередив в себе привычное чувство, говорил, говорил. . .

— Да, все по-старому. . . — утвердил он еще раз, когда кончил говорить, и тут же тревожно отметил возбужденную нежность в глазах Бориса, в еле заметных движениях его губ и бровей, и особенную глубину мечтательности в молчании Вальки, и странную новую и зловещую силу в неожиданной усмешке Любы. . . И тут же он успокоил себя, что это только ответы заката, прозрачные и багровые.

2

Степан Григорыч бережно разглаживал страницу еще не разрезанной, но уже замызанной и растрепанной книги Борхарда.

— Разве можно так с книгами, а? Ты на ней обедала, что ли? — сказал он и сердито указал на саленое пятно посреди страницы.

Недовольный тем, что прервался кропотливый разбор статистических таблиц, невольно продолжая думать о сложном движении цифр в этих таблицах и оскорбленный за книгу, он поднял на Любу глаза. Она стояла почти вплотную около, так близко, что он увидел нежнейший пушок, золотящийся на ее руке. Она медлительно и виновато усмехалась и держала в руке тяжелый темно-ржавый сноп распущенных волос, и он точно впервые увидел яркость ее губ, и темный румянец щек и белизну лба над темно-золотистой и широкой полосой бровей.

— Ну вот... , капиталисты грабят рабочих... — говорила она, зевая и потягиваясь... — Это в жизни есть. Так бы и писали. А то норма прибавочной стоимости... Ты вот объясни, Степа, зачем это, а?

Легкие пальцы Любы с неосознанной грацией сплели волосы в тугую короткую косу, и Степан Григорыч наблюдал это с тем произвольным и пристальным вниманием, какое бывает, когда следят за монотонным ходом маятника, и пространно, но вяло объяснял теорию прибавочной стоимости...

— Ну, поняла? — спросил он, чувствуя, что того основного, на чем держится не только теория прибавочной стоимости, но и вся политэкономия, и чего никак не могла понять Люба, его объяснения не затронули.

— Да, поняла... — но она неуверенно вздохнула, повела плечами, и опять он отметил это плавное и мягкое движение.

— Спасибо, Степа!...

Ее уже не было в комнате, но Шорохов все еще видел быстрое и легкое колыхание складок ее простенького поношенного платья, которое сопровождало ее веселые шаги и которое точно рассказывало что-то о ней. «А ведь она тонка в поясе и широка в груди», — но тут же он остановил себя, — это нельзя было замечать. «Рыжик... — сказал он почти вслух ее детскую кличку. — Но ведь она же не рыжая, она темная — почти такая, как Наташа... Наташа, — сказал он себе: — вот о ней надо думать...»

Он слушал веселые шаги Любы в соседней комнате и старался представить Наташу. Но на память приходили только черная лента поверх красной крышки

гроба и слова: «боевому товарищу большевичке...» белые буквы, белые и мертвенные... Он шептал эти слова и не мог вернуться к их скорбному и торжественному смыслу; он слушал шуршанье одежды, заглушенный звон пружины кровати — в соседней комнате, — и вдруг вздрогнул. Это был толчок к действию, но действие это было недопустимым. И он опустил глаза к статистической сводке. Но цифры ее были безжизненны и легки — он не смог налить их своей мыслью. И он стал думать о Любе, но ему казалось, что он думает о распорядке жизни своей семьи, ведь Люба была основой этого распорядка, это она нежно и весело заботилась обо всем в доме — и о детях, и о Степане Григорьевиче, — рыженькая девочка, которая на его памяти стала выговаривать «ер» и «ел», стала читать и писать и о которой, как о маленькой, привык он заботиться и скучал, если долго ее не видел, и, встретив, спрашивал об ее делах. А красная косынка, коммунистический значек на косоворотке, новые звонкие песни, книги подмышкой, веселая и легкая походка, — все это было такое же, как у старшей дочери, Ольги, которая, вместе с ним уехав на юго-восточный фронт, в Туркестан, так и осталась там работать. Это новое и молодое вызывало умиленную грусть, появившуюся после смерти жены, когда Степан Григорьевич сам с собой условился, что личная жизнь для него кончилась, что осталось только его революционное дело. «Вот оно, новое поколение революции...» — думал он. Люба словно бы только стала больше ростом, и платья ее стали другого, взрослого покроя, но осталась той же рыженькой девочкой, какую он знал с детства. Но сейчас, в моменты таких вот

бессловесных толчков, цепь его привычных мыслей прерывалась, и Степан Григорьевич чувствовал, что немо и пристально наблюдает ее, и совсем не важно — пришла ли она с собрания комсомольской ячейки, или со спортивной площадки, но вот она стоит перед ним и легко дышит, и улыбка дрожит в углах ее рта и солнце в ржавых ее волосах; а вот она пришивает пуговицу Борису на рукаве: он не стоит спокойно, и она сердится и хмурится, сводя широкие брови и сердито румянея; или она читает книгу, подперев голову округлыми своими руками, которые стали казаться особенно белыми, почти светящимися живым молочным светом. И это стало с того момента, как он увидел ее нагое тело. Но он не хотел об этом думать.

И как костер забрасывают прелой листвой, так он, почувствовав в себе вот такой обжигающий бессловесный толчок, забрасывал его житейскими своими делами — брался за работу или за газету или искал себе собеседника. И как костер, забросанный прелой листвой, дымит горько и гарно, так постоянной горечью и тревогой была продымлена жизнь Шорохова. И после каждого такого толчка на пороге его сознания все явственней обозначались очертания новой Любы.

Она точно опять стояла перед ним, она точно спрашивала, а он, уклоняясь от ответа, цеплялся взглядом за цифры экономической сводки — и не мог работать. «Это потому, что я устал... Спать надо...» — сказал он себе и стал раздеваться, пристально разглядывая привычную обстановку своей комнаты, успокоительное чередование мелких букетиков на обоях и точно прячась за все это устойчиво-неподвижное и обжитое.

Он выключил электрический свет — и, уже вздрагивая, засыпал, тревожимый немymi побуждениями тела, освобождающегося от контроля рассудка. Эти побуждения принимали ошутимо-плотный облик Любы. Она притягивает к себе теплыми и немymi запахами, и, как наяву, она нага, и, как наяву, она запретна и потому страшна, и, как наяву, он знал, что надо вспомнить какие-то слова и ими воплотить ту, свою, исчезнувшую. Но слов этих не было, и эта, новая и нагая, запретная и влекущая, насыщалась тяжелой жизнью.

— На... таша... — прошептал он. Но это было еще не то, что могло его спасти. — На... ташенька... На... талюшка... Талюшка... — Казалось, его губы сами нашли это давно забытое, первое любовное имя жены, и разом ошутил он около себя ее особенный ночной шопот и только ей присущую живую ласковость тела... «Да ведь ты же не уничтожилась!» — с восторгом думал он, так решительно и полно отрицающая смерть, как это бывает только во сне. «Ты — вот она ты. И я всегда знал, что ты — живая, живая». Это ошущение счастья его пробудило, и сразу он понял, что ее нет рядом, но счастье, которое он нашел во сне, осталось.

— Таля... Талюшка... — шептал он. — Ну и что же. Я не старик еще. Мне нравится Люба... — подумал он радостно, и ему приятно было так думать. — И тут эта случайность, что я увидел ее тогда... Но это не должно быть. Надо себя держать в руках, и я буду, я сумею. Ведь Таля, Талюшка... мой товарищ милый... — И эти слова, утратив свой торжественно-скорбный, надгробный оттенок, прозвучали для Степана Григорыча

напоминанием о той особенной и возвышенной нежности, которая была у него с Натальей.

3

Поздний вечер, в громадном учреждении — ни души, а Иван Александрович Эйдкунен, помощник и заместитель Шорохова, стоит около его, Шорохова, письменного стола и приводит его в гармонию с тем аккуратным, почти торжественным порядком, который господствует во всем кабинете. Уже на пороге, Шорохов разом оценил все это, как наступление против себя — Эйдкунен ведь знал, что Шорохов не любит, когда трогают бумаги на его столе. Но Шорохову не хотелось ссориться с Эйдкуном — ведь именно за этот систематизирующий и классифицирующий порядок Шорохов ценил и любил Эйдкунена. И Шорохов приветливо улыбнулся ему и начал рассказывать о крупном своем успехе на важном заседании, с которого он сейчас пришел.

Но едва Эйдкунен увидел Шорохова, как достойно-обиженное выражение прикрыло его миловидное и румяное лицо, и им он словно бы отгородился от приветственного жеста Шорохова, от ласковой его улыбки, от усталого удовлетворения в его голосе. Всего этого дела, о котором рассказывал Шорохов, Эйдкунен не одобрял, и, не поднимая головы, он продолжал разбирать бумаги. Обычно он радовался успеху Шорохова, а сейчас в его голосе Эйдкунен слышал недопустимую похвальбу. Хотя и ему самому случалось испытывать довольство собой и желание похвалиться перед товарищами, но он старался это сделать так, чтоб его нельзя было обвинить в похвальбе. И, дождавшись,

когда Шорохов кончил удовлетворенно: «И вот — резолюцию приняли, — все пункты мои», Эйдкунен сдержанно и холодно сказал:

— Это хорошо, что резолюция по твоему докладу наконец принята. Я привел в порядок все материалы, по которым ты готовился, и думаю их положить вон на ту полку — три бе, — и Эйдкунен указал на полку, которую он называл три бе, согласно системе, им разработанной, которой он гордился.

— Вот положить их туда — это уже не надо, — встревоженно сказал Шорохов. — У меня росту нехватит, и придется на день тридцать раз туда по лесенке лазить. Ты их оставь, Иван Александрович, у меня на столе... — миролюбиво и ласково добавил он.

Но Эйдкунен спросил, поднимая тоненькие брови и еще более румянея от обиды.

— Как, — разве ты не вернешься к основной работе нашего отделения?

— Ну вот — основной... — усмехнулся Шорохов, неодобрительно качая головой. — Брось, Иван Александрович... Ведь партийные скандальчики, право скандальчики...

— Не скандальчики, а нарушения партийной этики... — учительно и строго сказал Эйдкунен. — И мне, молодому члену партии, говорить тебе, старому...

— Я не старый, я молодой... — пошутил Степан Григорьевич и вдруг усмехнулся растерянno и виновато: из-за этой шутки встало лицо Любы, сегодня утром она спрашивала, можно ли ей устроить вечеринку, и веселое смущенье дрожало в углах ее рта. Он ответил, что можно, ровным и ласковым голосом, которым он

с ней говорил с той ночи, когда во сне наново нашел свое чувство к Наташе в ее первом любовном имени — и им, как особенным теплым воздухом, окружил себя. . . — «Талья», даже не шевеля губами, одним усилием мысли, называл он ее, и она, словно выходя из комнаты, вполоборота оглядывалась и улыбалась ему, и в постоянном и счастливом подъеме работы Степан Григорыч вспоминал мельчайшие, только ему и ей понятные проявления их любви, — это были шуточные и милые прозвища, прикосновения, привычно-ласковые, ставшие почти машинальными. Просьба Любы вызвала внезапное, унылое и злое томление, но он думал, что подавил его, а вот сейчас оно опять неожиданно встало.

Эйдкунен отнес смущенье Шорохова к действию своих слов и победительно продолжал:

— Ведь это — порученная тебе работа, она настолько необходима партии. . . Но ты. . . я тебя, откровенно говоря, не понимаю. Вот ты начал большую статью о взаимоотношениях с крестьянством. . . — сказал Эйдкунен, вытаскивая из-под бумаги большую папку. — Вот цитаты из Ленина и Маркса, которые ты просил перепечатать. Но ты их даже не видел. . . Тебя заинтересовали наши судебные процессы — вот протоколы, затребованные тобой из суда, — ты их разбросал повсюду — на них твои отметки. . . Но эту работу ты опять-таки не довел до конца, хотя я даже не знаю, зачем ты все это делал. . . Но вот — и Эйдкунен снизил голос — ты получаешь письмо от дочери: она сообщает о злоупотреблениях в Туркестане — о том, что там загнивание в партруководстве. Я, конечно, понимаю — случаи возмутительные. Но ведь есть спе-

циальные товарищи, которые этим делом ведают. А ты — сам едешь в Туркестан, расследуешь все это и поднимаешь целую кампанию, ставишь вопрос в ЦК...

— Так что — я повредил этим или помог? — спросил Шорохов, досадливо морщась.

— Дело не в этом, Степан Григорьич! А дело в том, что тебе поручена другая область работы, — учительно говорил Эйдкунен. А что ты скажешь, когда ЦК спросит тебя, что у тебя сделано в той области работы, которая тебе поручена? Хорошо, что есть я. Я, конечно, не так хорошо, как ты, но все же кой-что сделал, — скромно и самодовольно сказал Эйдкунен. — Я все это говорю к тому, что нельзя работать без системы. Ну, взять хотя бы мелочи, — письменный стол...

— «А ему, видать, нравится расследовать, изобличать, допрашивать, обвинять. И он выдумывает все эти высокие мотивы, ответственность перед партией...» — подумал Степан Григорьевич. Посмеиваясь над Эйдкуненом, он одновременно чувствовал правоту Эйдкунена и знал об отсутствии системы в своей работе. Но все эти неоконченные дела и в особенности это последнее — Туркестанское — были выражением тех нескольких, самых главных мыслей, которые всю жизнь сопровождали его, все время усложняясь и уточняясь. Они придавали всем этим неоконченным делам какой-то глубоко-личный интерес, чувство, что только он — и никто больше — не сможет эту работу по-настоящему, как это надо для партии, сделать. А в отношении порученных ему официально дел по нарушению партэтики он этого личного интереса обнаружить не мог — и ему казалось, что раскрыть туркестанские злоупотребления так, как это нужно, мог только он, а работу, которая

была ему официально поручена, может сделать всякий другой. Но Шорохов не пытался объяснить все это Эйдкунену. Для того, чтоб Эйдкунен все понял, нужно было постоянно присущее Шорохову чувство молодости, незрелости всего государства, неполного соответствия зыбких, иногда раньше времени окостеневших форм и его все углубляющейся и углубляющейся сущности.

Эйдкунен же все считал уже сложившимся, разграниченным и как бы окаменевшим. Но это и было его преимуществом перед Шороховым, он мог действовать более уверенно и отчетливо и этим Шорохову помогал. И, прослушав всю длинную речь Эйдкунена до конца, Шорохов не стал возражать Эйдкунену, так как он не хотел его раздражать. Надо было заговорить о чем-то другом. И, проведя рукой по щетине, покрывавшей его щеки, Шорохов спросил:

— Скажи-ка, Иван Александрович, где можно сейчас побриться?

Он спросил и тут же понял, что вопрос этот шел от утреннего разговора с Любой. «Да что ж это я?» — подумал он, смущаясь, и не успел еще изумленный и обиженный Эйдкунен ответить, как Шорохов, покраснев и нахмурившись, торопливо добавил: — Неважно хотя, можно и до утра. И я пошел домой.

Он поднял воротник пальто, махнул рукой Эйдкунену и вышел.

«Чудак...» подумал Эйдкунен о Шорохове, выражая этим словом то свое основное, непонимающее и ласковое отношение к нему, которое установилось с первой их встречи.

Эйдкунен, направленный МК «секретарем к това-

рицу Шорохову», ожидал в его комнате военно-оркестровой торжественности, багрянца знамен, звонкого золота лозунгов на стенах, марксовых книг на полках, а за широким письменным столом — седобородого, солидно-полного человека, который скажет какие-то все объясняющие слова, — и разом Эйдкунен станет, как в военном оркестре, напротив дирижера и будет, как за дирижером, следить за Шороховым. И, увидев обычную комнату советского учреждения, дощатые столы, провалившееся кресло и невысокого, сухощавого и смуглого человека, который несолидно-быстро шагал по комнате и читал бумаги, Эйдкунен не поверил во все это и стал держать себя так, словно тут был все-таки тот благолепный порядок, которого он ожидал.

Но Шорохов не дал Эйдкунену рассказать о своей революционной работе, а неожиданно спросил, какое образование у Эйдкунена, и, узнав, что Эйдкунен кончил торговую школу, заинтересовался, чем в жизни хотел стать Эйдкунен.

— Бухгалтером. . . — промолчав, ответил Эйдкунен (он сам уже забыл немного о том, что когда-то хотел стать бухгалтером); — но меня мобилизовали в девятьсот четырнадцатом — как раз когда я кончил.

— Значит, и царю-батюшке служили? — спросил Шорохов.

— Я играл в военном оркестре на корнет-а-пистоне, — немного невпопад ответил Эйдкунен.

— Это что же за инструмент такой?

— Это. . . вот он всегда со мной. . . и Эйдкунен хлопал по вещевому мешку.

Тут Шорохов необыкновенно оживился, вытащил сам из вещевого мешка Эйдкунена маленькую, причу-

дливо изогнутую, блестящую жидким солнцем трубу и настойчиво стал упрямивать Эйткунена что-либо сыграть. Это было совершенно недопустимо, но просил такой почтенный человек, что Эйткунен подчинился, и вот в кабинете Шорохова раздались гнусавые и воинственные звуки марша, и Эйткунен, налив румянцем миловидное свое лицо и выкатив темно-синие глаза, постукивал ногой в лад быстрым и ровным темпом, ногой, аккуратно охваченной зеленой обмоткой.

— Хорошо играешь, но без души... — вздохнув, сказал Шорохов. — А в музыке это главное — душа... И давно играешь?

И обидевшись на то, что он играет якобы без души, Эйткунен сказал, что это его любимая склонность, что играть он начал еще в торговой школе, хотя и трудно было при бедности их мелко-чиновничьей петербургской семьи приобрести этот инструмент... Он говорил, а Шорохов поддакивал, и все добрее и хитрее становилось его лицо, а Эйткунен сказал и о скучном детстве своем, и об одиночестве на военной службе среди военной челяди — солдат музыкантской команды, писарей, фельдшеров, унтеров, каптенармусов, — и о первых своих революционных порывах. Революционные порывы, программа партии, долг каждого сознательного солдата — говорил он Шорохову, а сам вспоминал другое — семнадцатый и широкое слово: свобода! — Услышав его, Эйткунен вздохнул широко и счастливо, и, казалось бы, только для самого себя сказал он — что вот оно то, что мне нужно — свобода, но нет, он сказал это на митинге, и его стали всюду выбирать, — и, озабоченный, куда вести людей, выбравших его, он читает газеты, брошюры, его тре-

вожит то, что все кругом колеблется, рушится, он хотел бы все это привести в стройный, никогда не виданный порядок — так, чтобы все было разумно и правильно и справедливо. . . и вот — только у одной партии это выходит, — и тогда он вступает в эту партию.

Всего этого не говорил Эйдкунен, но он чувствовал, что Шорохов именно это в нем понимает.

Так стали они работать. И, все время не понимая и осуждая Шорохова, каждый раз вводя системы и классификации, которые Шорохов, не подозревая, разрушал, Эйдкунен привык к Шорохову и уже любил его. До встречи с Шороховым Эйдкунен постоянно мучился сознанием в себе тех слабостей, которые казались ему недопустимыми у коммуниста, но без которых сам он не мог жить. Но, видя в Шорохове постоянные нарушения того, что Эйдкунен считал должным для коммуниста, и все же с каждым днем все больше ощущая ценность Шорохова для партии, Эйдкунен им оправдывал все свои слабости. Вот и сейчас: Шорохов уже ушел, — Эйдкунену не хотелось возиться с бумагами, так как он возился для того, чтобы доказать свою хорошесть и подчеркнуть неправильность Шорохова. И неожиданный и недопустимый вопрос о бритье и потом смущенье Шорохова сразу же напомнили Эйдкунену о своем, о беленькой беспартийной жене, — и он тут же затормозился одеваться, оправдывая и объясняя свою слабость, слабостью Шорохова, словно бы Шорохов был тем громадным и противоречивым миром, в котором он, маленький Эйдкунен, обитал и которого, пусть даже с точки зрения его, Эйдкунена, неправильные, но естественные, могущественные законы для него обязательны.

— Веселой ночи, товарищи... — сказал Степан Григорьич повернувшись к нему с различными оттенками смущенья, уваженья и веселья молодым и оживленным лицам. Этими словами он и ободрял их и отстранял от себя весь празднично изменившийся облик комнаты — кровати, сдвинутые к стенам, и пестревшую на белой скатерти закусочную снедь, и вино, тепло и багрово светящееся в бутылках, — и этими же словами он для себя утверждал свой мир, мир нежной и грустной, Наташиной ласки.

И он хотел пройти в свою комнату, но поднялся веселый гомон, его окружили, вперед протиснулась Люба и с силой схватила его за отвороты пальто.

— Нет, Степа! Мы тебя не пустим! — сказала она. — Нет!.. Она просительно и ласково улыбалась, и он на уровне своих губ видел ее зеленовато-голубые глаза, обрамленные темно-рыжими ресницами, золотящимися и загнутыми. Что-то грозное было в сияющей веселости этих глаз, и Степан Григорьич как-то вдруг на мгновение потерялся, — и сразу с него стянули пальто и посадили за стол, и какая-то полная бледная девушка, рядом с которой он оказался, уже угощала его бутербродами с ветчиной.

Он был недоволен собой. «А впрочем — мелочь...» — отмахнулся он и стал весело подшучивать над тем, что ему никто не предлагает вина.

— Так я сам себе налью, вот... Он наливал вино, ел, пил, смеялся, а сам с зорким, никогда его не покидающим интересом наблюдал за всеми. Сначала внима-

ние его привлек парень с гитарой, он сидел по другую руку бледной и полной соседки Шорохова.

Ах, милый, милый, милый,
Мой голубь сизокрылый,
Не натягивай на пятки
Желтые перчатки...

напевал он охриплым, но верным голосом, и гитара покорно подпевала ему, как глупая и влюбленная девушка.

Его новенькая шелково-блестящая косоворотка простого покроя переливчато шедестела. Все смеялись песне, Шорохов тоже улыбнулся, с удовольствием разглядывая этого чернявого парня с темными родинками на румянном лице. Но вот из-за ширмы, за которой была Любина кровать, он услышал веселый голос Любы и сразу потерял легкость и свободу наблюдения.

— Но, Володя, разве не страшно? — спросила она.

— Нет, Любаша... Вот на германском, во время артиллерийской подготовки — это да! Ну, а разведка — ничего.

Голос был негромкий, но чистый, ласково и насмешливо выговаривающий слова.

— Но как же? ведь кругом враги, тысячи врагов... Нет, очень страшно... — заторопилась, заговорила Люба.

— Так что же, что тысячи... Они про нас не знают, а мы про них знаем. Неприятельский тыл — это любезное дело! Помню я один конный рейд: нас всего сотня, а у них два полка, и вот ночью подошли мы вплотную к деревне, — кони приучены — идут, даже не фырчат, — сняли их часовых...

— Убили? — спрашивает Люба, и незатейливое восхищение и ужас в ее голосе.

— Да, кончили... Ну, а потом «ура!» — и в деревню... Ну и что же, крупа сдается, их благородия выскакивают без штанов, кто до коня добежал, а кто прямо на колешки — о жизни молит... Прямо смехота...

— Но было, что и тебя могли убить! — восклицает Люба.

— На то и война... А теперь вот пируем... — и что-то такое покровительственно-нежное и хитрое колеблет его голос, что Шорохов непроизвольно встает, заглядывает за ширму, видит его сзади темно-русый, кудрявый мужественный затылок и плечо.

— Какой ты храбрый! — говорит Люба и восхищенные полыхает на ее лице, и Степану Григорьичу опять, как утром, стало томительно и беспокойно, но он отогнал от себя это чувство и ухватился взглядом за рябого и скуластого парня в черной рубаше, который поодаль от всех стоял около этажерки и листал Любины учебники. Впрочем, он тоже участвовал в общем оживлении, склонив крутую, круто обритую голову и держа в углу рта цыгарку-самокрутку; он щурился от едкого махорочного дыма и усмехался, прислушиваясь к разговору, который шел за ширмой. Похоже, все это, что говорилось, было знакомо ему, и он к этому относился с насмешкой. И через эту насмешку Шорохов сам ощутил чуждую, хищническую воинственность всего того, что рассказывал этот парень.

— Скучновато становится... — сказал рябой парень, положив книгу на этажерку.

— А ты бы таблицу логарифмов почитал... — сказал гитарист, и опять все засмеялись.

— Сплясать надо... — сказал рябой, отходя от

этажерки и обдергивая рубаху, словно он сам собирался плясать. — Булавин! сплясать тебе надо, Булавин... Вот! — сказал он, поворачиваясь к ширме.

— Верно, верно, Володя... — загорелся Любин быстрый говор. — Спляши, ну, спляши! Я прошу тебя.

Она задвигалась, она за руку тянула этого парня, которого называли Володей Булавиным, а тот не шел, посмеиваясь негромко, но звонко...

— А ну, Алеша, заиграй, заиграй! Он сам выйдет! — со смехом кричала Люба.

Поплясал бы я в присядку
Сапоги не гнутся,
Шаровары по пятам,
Девушки смеются...

пропел гитарист, и за ним то же выговорила гитара, и Шорохов не успел вникнуть в грусть этой припевки, как гитарист плашмя положил ладонь на струны, точно стирая печальное их дрожание, и крикнул даже как-то очень уж весело:

— А ну, Булавин, дай, дай, дай...

И гитара сразу заговорила быстро, однотонно и гортанно, и в лад ей захлопали в ладоши, и он, расправляя руки, уже выходил на середину комнаты, невысокий ростом, тонкий в поясе, золотоглазый и смугловаторумяный.

— Шапку дайте! это нельзя без шапки... — сказал он, посерьезнев, словно приступая к работе. И по тому, как он посадил кубанку на голову, Степан Григорьич сразу признал в нем казака.

— Ну, а ну, а ну, Сонечка, выходи... выходи... — говорил он и шел через комнату, и его походка все больше попадала в лад гитаре, и вот движенья его

стройных ног и мерные переборы гитары совпали, слились во что-то неразрывное одно. Он повел плечами и пошел щеголевато-быстро и воинственно, и гитара уже шла за ним. Он прошел мимо Шорохова, и Шорохов, хлопая в ладоши, увидел его ласковый, дерзкий и серьезный золотисто-карий глаз. А плясун прошел уже мимо полной и бледной соседки Шорохова, мимо гитариста, и перед кем-то кто сидел за гитаристом, он стал отходить и отходить, и все захлопали сильнее, понимая, что эти легкие прыжки и приседания означают, что он просит, вызывает, приказывает плясать. И все сильнее и сильнее стали бить в ладоши, и лица всех стали оживленнее, и Шорохов, вглядываясь во всех, тоже бил в ладоши...

И вот она застенчиво поднялась со своего места. Она казалась нескладной, как-будто одно плечо ее выше другого, и слишком худы и тонки ее ноги в серых шерстяных чулках и высоких ботинках. Но вот она развела руками, застенчиво ласково улыбнулась, рот ее был некрасивый — козий и зубы неправильные, но что-то загорелось в ее длиннопрорезанных еврейских глазах, и она вдруг легко и жеманно пошла на него, словно затем, чтобы объяснить ему, но он щеголевато воинственно и пренебрежительно к ее женственности уходил и уходил от нее.

— Врангель! Отдай мне мою ногу! Желаю танцевать с Соней, — сказал гитарист, когда плясунья проходила мимо него.

«Так вот что с ним...» подумал Шорохов, постигая и почти фантомную тщательность его одежды и эту, прорывавшуюся порой, печаль. И эти слова и

воинственный рассказ открыли ему теплый смысл этой вечеринки.

«Молодые ребята, те новые, которые сменяют нас и которые взошли в гражданской войне и восходят в революции... и веселятся... И правильно...» — ласково думал он, привычно включая Любу в круг этих новых и молодых.

Но вдруг Степан Григорьич увидел ее лицо. Жадность пылала в сиянии ее глаз и румянце щек. Губы ее были полуоткрыты, и в тепло-багряной полутьме рта поблескивали мелкие зубы. В такт музыке поводя плечами, смотрела она в лицо Володе, а он перебрасывал себя с ноги на ногу и, подбочившись, подступал к ней, и за ним с жеманной грустью, по-еврейски поводя плечами и бровями, стремительно неслась и не двигаясь с места Соня, а он уходил и уходил от нее.

«Так вот оно что...» подумал Степан Григорьич, точно находя то слово, которым можно назвать унылое и немое томление, подступы которого он чувствовал с утра, — и сразу, как ветром, унесло его благодущные, подогретые вином, едой и музыкой грустные и умиленные размышления.

«Да, они, эти молодые, веселятся, и так быть должно. Но я-то здесь при чем...» уже по-другому подумал Шорохов.

Гитарист замедлял и замедлял танец. Он словно бы скрывал песню за торжественным занавесом заключительных аккордов, под которые нельзя было танцевать, а лишь, взявшись за руки, манерно отклоняться под общие апплодисменты и веселые возгласы. И, видя все это, — так, словно бы это направлено было против него, — Степан Григорьич встал и прошел в

свою комнату. Тому, что все в его комнате стояло на своих местах, он с неожиданным и непонятным оттенком изумления обрадовался. Он стал торопливо раздеваться. Он слышал заглушенные дверью низкие, нежно-гортанные переливы Любиного смеха и явственно знал, как этот складный паренек, пригибая свою русую кудрявую голову к ее уху, нашептывает ей веселые пустяки. В ранней молодости Степан Григорьевич сам нашептывал это девушкам.

«Ну и что ж... и так быть должно... и это ее жизнь, которая не может интересовать меня. Это другое, молодое. И если даже он нравится ей...»

Но тут он содрогнулся, словно от ожога, боль прокатилась внутри него, и он даже испуганно оглянулся.

А в соседней комнате задвигали стульями, сильнее затопали, громче заговорили. Потом под ряд несколько раз хлопнула дверь, и разом стало тихо. Шорохов стоял полураздетый и напряженно ждал звона посуды, легких шагов, веселого пенья и шелеста платья — обычных вечерних Любиных звуков. Но все было тихо, урчала вода в отоплении, еще какие-то шумы неясно дрожали во внутренности громадного дома.

«Ушла? — опять удивляясь той боли, которая охватила его, спросил Степан Григорьевич. — И мне пойти туда? Узнать, там ли она?» Он чувствовал, что ему надо идти, что это унижительно. И все-таки, накинув пиджак на плечи и приняв на лицо выражение заspanной ласковости, он открыл дверь. Было пусто и тихо.

Гитара брошена на постель, стол уставлен откупоренными бутылками и вскрытыми жестянками, все это веет бессмысленным и застывшим весельем.

«Ушла...» — и он вдруг почувствовал притворное выражение своего лица — в этом беспорядке отшумевшей вечеринки. «Что ж, влюбился, старый чорт, в свояченицу?» — с жестоким стыдом и страхом спросил он себя. Но вместо ответа перед ним встали эти два лица — бело-розовое лицо Любы, смугло-румяное Володи, как два пятна под веками закрытых глаз, мерцали иплыли они перед ним. «Ничего! Может, обойдется как, а?» — несвязно и беспомощно подумал он, ныряя обратно в полутьму своей комнаты.

«Наташа... Таля... Талюшка...» Но это были только движенья языка и губ, слова из них не составлялись, и он бессилен был восстановить рассеявшийся теплый мир печали и нежности. И все в нем ждало возвращения Любы. Его слух вникал в темную тишину ночи, и он весь превращался в чуткое ухо: казалось, всей громадой этого темного и спящего дома он ждал ее; он воплощал себя в пустые ступени крыльца, в эти обшарканные ногами камни и ими жадно готовился принять прикосновение ее веселых и легких ног. И все немыслимо тихие звуки начинали стучать в его голову, но это не было то, чего он жаждал, и он еще и еще раз перевертывал подушку, каждый раз нагревшуюся, и опять задремывал и, точно от толчка, просыпался. И опять видел перед собой эти беспощадно отрицающие его и отдающиеся друг другу молодые лица.

«Да, да... она у него», — и он со стоном вздохнул и, услышав свой стон, приподнялся на локте и со стыдом оглянул темноту своей комнаты. «Что же это такое?» — спрашивал он себя по поводу той недопустимой муки, которая, терзая его, все нарастала и нара-

стала, напоминая о себе, словно она была когда-то, но он не помнил, когда. И ему казалось, что он не выдержит и, судорожно разводя челюсти, завоет как зверь, попавший в капкан. Но он стискивал зубы, сдерживая себя, и становилось совсем худо. И вдруг он услышал, как поворачивается ключ в английском замке, потом — осторожно-заботливый звук отворяемой двери, негромкие, но действительные звуки, сразу развеявшие космический грохот его бредового мира. Успокоительным и прохладным счастьем были ее шаги по комнате. Вот зазвенели струны, он представил себе, как она осторожно убирает гитару со своей постели. Он жаждал убедиться во всем этом простом, ощутимом и радостном, и, накинув на себя одежду, он идет туда и видит: подобрав под себя ноги, она сидит на постели. Она уже сняла платье, и на ее полных, белых руках он выше локтя видит печать оспенной прививки. Она румяна, глаза ее блестят, но между бровей складочка — она чем-то озабочена. Увидев его, она дружественно улыбается, — складка пропадает. — Ты почему не спишь, Степа? — спрашивает она. И в этой родственной ласковости и в том, что она по домашнему не стыдится его, — во всем этом он узнает обычную Любу.

— Зачитался немного... — говорит Степан Григорьич, облегченно вздыхая, и пьет воду из графина.

— Ты зачитался, а я зашаталась, дя Степ... — незатейливо шутит она, называя его так, как называла в детстве. И с головой накрывается одеялом.

«Милая, родная девочка...» — грустно и нежно думает Степан Григорьевич, гасит свет, идет к себе...

Вдруг кто-то точно толкает его. Он видит, что свет

не погашен, и он опять стоит посреди комнаты, и Люба опять сидит на кровати, подобрав под себя ноги. И он не удивляется тому, что все повторилось, и, влекомый живым и страшным блеском ее голых рук и шеи, шагает в сторону кровати. . .

Шорохов, вздрогнув, просыпается. Он один, кругом темно, у него колотится сердце. Он начинает бояться — не приснилось ли ему то, что она вернулась. И он встает и тихонько отворяет дверь и слышит ее дыхание, и невыносима мысль о том, что дети отведены к знакомым, что она — одна там, и сердце бьется с болью, и кровь с шумом обегает тело.

«Таля. . . Таля. . .» — шепчет он, опять желая окружить себя этим миром печальной и возвышенной нежности, теплым трепетом любовных мелочей, но, настолько вызванные сознанием, они предстают перед ним бледными и мертвенными, как белые буквы на траурной ленте, и он с содроганием отталкивает их. И напрасно он шепчет ее имя: похоже, точно в темноте он не может найти замочной скважины и тычет ключом в непроницаемо-холодную дверь; и, поддаваясь этой полубредовой ассоциации, он опять повертывает выключатель.

Комната всей обычной своей расстановкой равнодушно взглядывает на него, и так же отчетливо, как он видит предметы, он говорит себе: «Да, она нравится мне. Я хочу ее. . .» — И ему сразу делается легче. — Почему же мне с ней нельзя?» — так же ясно выговаривается раньше казавшийся недопустимым вопрос. И только он мысленно полным голосом спрашивает себя, сразу мучительная и бессмысленная сила, которая толкала его итти сейчас же к Любе, отпускает

его. «Нельзя это так делать... Она испугается... Надо ей сказать все это... — думает он и сразу чувствует себя легче и свободней... — Но что же сказать — жениться на ней?» — с недоумением и страхом спрашивает он себя и вместо ответа вдруг думает по-новому и остро то, что он и раньше знал, но притупленно и обыденно, — что в распорядке его семьи Люба давно уже заменила Наташу. И сейчас это как-то по-новому и опять недопустимо радует его. «Я передам ей свой революционный опыт, воспитаю ее как большевичку, — в такие слова одевает он эту радость, — она мне будет такая же подруга, как Наташа». И мысли эти приятны, но звучат они так, словно их говорит Эйдкунен. «Преемственность революционных поколений. И не надо приносить интеллигентских рассуждений в наши и без того сложные дела,» — как бы слышит он твердый прибалтийский говор Эйдкунена. «И ведь Люба же красивей Наташи», — неожиданно думает он, и ему неприятно, что он так подумал. Но все-таки, сравнивая сестер, он вспоминает, что Наташа сутулилась и что-то нескладное, не совсем правильное было в тонкости ее нежной шеи и широте ее бледного лица, ее большой и кудрявой головы. И то, что в Наташе только робко намечалось, в Любе словно получило законченное выражение ладности и силы и определило ее всю. «И ведь она же не любит этого ладного казаченка... Ведь это же смешно — соревновать ему... Но разве не может она меня полюбить? Ведь как же любили меня! И разве я старый? Да ведь никого — даже Наташу я так не хотел...» — и он вдруг вспоминает, что с Наташей он сошелся случайно — на совместной весенней ночевке, что до беременности ее он даже и не

предполагал с ней жить, — и все-таки было в ней что-то такое, чего не было в отношении к Любе, какая-то особая чистота.

Воздух в комнате стал прозрачным и серым. Но пока не вызрело желтое и розовое утро, пока первые и звонкие раскаты трамвая не зазвучали на улице, Шорохов все думал об этом — словно от перепутья многих дорог он шел по одной и, не доходя до конца, видел, что заблудился и опять возвращается к перепутью, и шел по другой. . . . Чтоб прервать эту бесплодную деятельность, он решил встать и выйти на воздух.

Он шел на цыпочках, чтобы не разбудить Любу, и перед тем, как уйти, оглянулся на нее. Обняв рукой подушку, слегка опрокинувшись на живот и согнув ногу в колене, она спала со здоровым наслаждением, и он видел незамысловато оформленный и какой-то даже детский нос и пряди прямых волос над покрасневшим ухом. А сам он был разбит и словно изжеван и с изумлением смотрел на эту простенькую девочку и даже не верил, что она и есть то влекущее и грозное, что мучило его всю ночь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

5

Уходя, Степан Григорьевич стукнул дверью, и Люба проснулась. Вокруг был развоз и мусор вчерашней вечеринки, она не могла дольше спать среди сдвинутых со своих мест, потревоженных и грязных вещей и разом поднялась. Она надела то особенное серенькое платье, которое в обжитых и мягких складках своих

танлю домовитую и деятельную заботу, и вот она скрипит и блеска перетирает стаканы. . . Она хмурится, она сводит к переносице широкие свои брови, — и вдруг разом застынет, стоит неподвижно со стаканом и полотенцем в руках и медленно улыбается, ощутив раздражающий вкус упругих и твердых губ Володи, словно опять идут они по спящему городу, а навстречу — широкая волна сырого и теплого весеннего ветра. . . И Люба опять хмурится и опять и опять перетирает стаканы и расставляет посуду на полках и собирает в мусорный ящик консервные банки и бумагу, и вся эта деятельность, тщательная и яростная, отражает то, что сейчас происходит в ее мозгу. Она вчера промочила ноги и сказала об этом Володе. «Идем ко мне. . . посушишь. . . И у меня ход отдельный», — сказал он, и голос его дрогнул, и он крепко сжал ее руку выше локтя. «Нет», — ответила Люба сразу и резко и даже отстранилась от него. Она повернула домой, он проводил ее, разошлись они молча, не сказав ни слова друг другу.

Люба знала, что поступила правильно. Но она не знала, почему. Ведь он — это был тот же, каким она увидела его первый раз прошлой весной на футбольном состязании. Игра сосредоточилась на другом краю поля, и Люба, воспользовавшись этим, быстро перебежала через поле к подруге. Вдруг крики вспыхнули и, словно колеблемые ветром, стали слышнее, — мяч подпрыгивая шел в ее сторону, шумливый и пестрый центр игры двигался за ним, и впереди всех, догоняя мяч и передавая ему свою стремительность, легко бежал Володя. Не зная, что ей делать, она неподвижно встала. Он взглянул на нее, и хотя в его взгляде мелькнула

любующаяся ею острая искра, но все же он ударом ноги направил мяч в сторону, и в то время, как яростный гон игры метнулся туда, он ударом другой ноги уже перехватил полет мяча и провел его в трех шагах от Любы. Она близко около себя увидела запотевшие его виски, ее обдало горячей силой разгоревшегося в беге тела, и все же он опять мгновенно взглянул на нее ласково и жадно, и мяч летел уже через пустое поле, прямо к воротам противника, перед которым метался незащищенный голкипер.

Потом уже Люба много знала о нем от других и от него самого. Она узнала, что он кончает институт, что он с восемнадцатого года в партии... но это знание легко забывалось и было несущественно, а вот то соединение смелого удалства и лукавого осторожного расчета, которое она увидела в нем на футбольной площадке, она каждый раз по-новому и по-новому раскрывала в нем. И, когда он говорил на партийных собраниях, она через прямой смысл его речи слушала с немым и жадным вниманием только ему присущую расстановку слов, хитрые интонации, которые колебали его негромкий, но чистый голос.

И только теперь она почувствовала себя юной. Раньше начинающееся пробуждение тела вызывало недоумение и страх, теперь она следила за ними с гордым удовлетворением. Обозначалась грань, отделявшая полудремотный, тревожимый и счастливыми и горестными предчувствиями предрассветный возраст от молодого утра жизни, — и она перешагнула эту грань и уходила от нее, а он со своей спокойной, ласковой и небрежной повадкой, словно бы он знал что-то, что она не знает, вел и вел ее по этому пути поцелуев

и ласк, и все глубже запечатляла она его главные черты, и каждый раз, встречаясь с ним, она начинала ждать от него чего-то самого важного и радостного. Но после вчерашних, темных, все обесцвечивающих слов весь этот путь, который она прошла за ним, стал уни- зительным и обидным.

Люба подметала пол, она веником отскребывала прилипшую к полу сладкую конфетную бумажку, и не могла ее отскрести. «Вот он все говорит, говорит... о разном все говорит», — и она, хмурясь, отложила веник и стала пальцами отдирать упрямо-липкую бумажку. «Но весь этот разговор — не о том», и она, стиснув зубы, ногтями оторвала бумажку от пола и выпрямилась...

«... Не о том разговор... А настоящего разговора у него нет... любовного разговора...» Она пригнулась и яростно выметала из-под кровати легкую пыль. «Он полакомиться хочет...» — подумала она, пропуская какие-то само собой разумеющиеся звенья теперь уже легко развертывающейся мысли. И то, главное, что раньше она так ценила в Володе, сейчас сразу по- гасло, и он стал чужим и опасным, и морщинка опять легла между ее широких, золотящихся бровей и не сходила до тех пор, пока не вернулись дети, веселые, шумливые от того, что не ночевали дома, и она с осо- бой нежностью поцеловала обоих, и после своих на- пряженно-обороняющихся мыслей с радостью ощутила себя в родном мире теплой обыденности.

Боря, звеня чайником, убежал уже за кипятком, когда входная дверь открылась, и Люба с удивлением увидела Степана Григорьича.

— Вот... Я думала — ты спишь. А ты... ты чего

же раньше меня встал? И ты сегодня плохо выглядишь. . . — сказала она ласково и встревоженно, заметив и морщинки, резко выступившие под его глазами, и нездоровую красноту век и носа, и точно опустившиеся, одряблевшие, покрытые седоватой щетиной, щеки.

— А я прошелся. . . утренний воздух. . . — и, как-то странно, словно поверх, взглянув на нее, он прошел в свою комнату.

Люба с тревогой и испугом смотрела на затворившуюся дверь. «Сердится он на меня за вечерку? Но это не было ему свойственно. Просто переутомился, ведь ни одного вечера дома нет». Озабоченно покачивая головой, ставила она на стол посуду. В комнату с шумом вбежал Боря, в руках его плескался дымящийся чайник, и она шикнула, думая недовольно: «А я, дура, нашла время вечерки устраивать. . .» Прислуга внесла в комнату потрескивающую яичницу с колбасой. И Люба, подойдя к закрытой двери, постучала и сказала ласково и немного смущенно:

— Степа, иди, завтрак готов.

Он вошел, посмотрел на ее лицо, и с удивлением увидела она, что он, странно сощурясь, отвел глаза и смутная щека его дернулась.

— Ты, папа, болен? — спросил Боря, так же, как Люба, сводя брови.

Все замолчали. Валя подошел и прижался пухлой щекой к большой руке Степана Григорьевича.

— Что вы, ребятки! — глухо ответил Степан Григорьевич и потрепал Вальку по пухлой и холодной щеке. — Здоров, только ночью работать пришлось. . . И есть охота. — Он сел за стол и досказал уже весело:

«Очередное достижение нэпа — яичница с колбасой. А почему это у тебя, Боря, лиловая клякса на лбу? Или это у пионеров заместо кокарды?» Боря шумно рассказывал, откуда клякса, Люба смеясь разливала чай, веселый дым валил из чайника, застучали ножи и вилки. Для Любы это было самое приятное время — обычный утренний чай, за которым сходились все. В этой семье рано расходились, поздно собираясь вечером и редко обедая в одно время. Но сегодня среди веселой болтовни Люба продолжала поглядывать на Степана Григорьича, и когда прислуга унесла посуду, Борис завязал красный галстук вокруг смуглой худенькой шеи и ушел, а Валька на полу занялся кубиками, она подошла к нему, положила теплую, мягкую ладонь на его большую и холодную руку и сказала: — Дя Степ. . . — и ласковая нежность и забота колыхали ее голос, — даже Боря заметил. . . Ведь ты болен, дя Степ! Ты возьми, поезжай недельки на две в дом отдыха, а? Нельзя же так.

Он сидел, а она стояла около него, и он, точно желая что-то сказать, поднял на нее глаза. И, взглянув в эти глаза, обычно веселые и смелые, она поразились их страдающему и печальному выражению. Ей казалось, что он о чем-то жалобно просит, и просит именно у нее. Она не понимала этого выражения, но оно вдруг взволновало ее, и, сама не зная почему, она наклонилась и поцеловала седеющий, неожиданно мягкий ежик его головы и разом вскрикнула — так сильно сжал он пальцы ее руки, потом, странно всхлипнув, быстро встал и ушел к себе.

«Какой хороший, милый и славный. . . самый родной. . .» горячо и бессвязно думала Люба и вдруг по-

чувствовала, что глаза ее наполняются горячей влагой.

Она смутно чувствовала, что в этом сейчас случившемся между ней и Степаном Григорьичем и на секунду нарушившем обыденность их отношений есть что-то тревожно напомнившее утренние мысли о Володе и она тихо плакала, отвернувшись к окну. Она думала, что плачет от любви и жалости к Степану Григорьичу, и эти мысли были приятны.

6

Степан Григорьич вошел в свой служебный кабинет. Он еще ощущал на тыльной стороне кисти мягкое и жгучее прикосновение Любиной ладони. По отношению к его ночным мечтам и мыслям ощущение это было незамысловато-просто, но оно потрясло его, как потрясает электрический разряд, и сразу обнаружило прозрачность и летучесть его ночных переживаний. Об этом простом, страшном и пленительном Степан Григорьевичу даже не мог думать, но пронес его через бодрую и целесообразную суету будничной улицы, через обычную обстановку коридоров, мимо лиц товарищей. Оно приглушало впечатления, доходящие из окружающего, и Эйдкунен был ему неприятен, — эти черты лица, правильные и миловидные, но недопускающие никакого другого смысла, кроме того делового и внимательного, который из них вытекал, напомнили о реальности мучений сегодняшней ночи. «Какой вздор!» — поморщившись, подумал Шорохов, отрицая за ночными представлениями право на существование и вглядываясь в крупного человека в зеленом, военном костюме, который сидел перед столом Эйдкунена и медленно и как

будто бесцельно передвигал письменные принадлежности. Лицо этого человека, гладко выбритое и потому особенно сильно открывающее округлые выпуклости лба, щек и подбородка, было спокойно и несчастливо.

— ... А я не знаю, — очень медленно говорил этот человек. — Нет, я, конечно, думал, — она не живет с ним. Он курсант. Всегда на учете, знаете, военная школа. . .

— Значит, вы были уверены, что она вам не изменяет? Почему же вы стреляли? — быстро спросил Эйдкунен, переставая писать.

«Это Соловьев, верно, который в жену стрелял», — догадался Шорохов, смутно припоминая какой-то рассказ Эйдкунена.

Соловьев, помолчав, сказал: «Целый день ее не видишь. Только слышно, как ночью дышит. . . Ну и вот». Он откашлялся от этих слов, которые ему, видимо, тяжело было произносить. Шорохов быстро взглянул на него и увидел, что он попрежнему, сосредоточенно, нахмутив свой выпуклый лоб, передвигал письменные принадлежности, и Шорохов вдруг понял, что Соловьев ищет какой-то их симметричной расстановки на столе. Эйдкунен, не глядя на Соловьева, быстро писал, и Шорохов вспомнил вчерашний разговор с Эйдкуненом, его самодовольные интонации и усмехнулся, почувствовав странную, ранее неиспытанную неприязнь к Эйдкунену.

— А прежде бывали недоразумения между вами и женой? — спросил Эйдкунен.

— Нет, — ответил Соловьев. — Мы жили очень хорошо.

И, увидев недоумение на лице Эйдкунена, он доба-

вил: — Когда мы сходились, я сказал: «Лиза, ты знай, что я, как коммунист, тебя ревновать не буду! И ты в своей жизни свободна!» И так у нас было все время!

В его голосе Шорохов уловил отблески какого-то гордого воодушевления, теперь уже погасшего.

— Но как же вы тогда в нее стреляли? — раздраженно спросил Эйдкунен.

— Я уже говорил вам, товарищ, что не удержался.

— Что это за слова — «не удержался»? — раздраженно говорил Эйдкунен. — Или вы анти-общественный элемент и ранее проявляли себя так? Но нет, — вы боевой комиссар Красной армии, дисциплинированы, стойки. Или вы разлагаетесь в отношении быта, оставаясь на работе хорошим коммунистом? — мыслит такой вариант. Но то, что вы сказали о ваших отношениях с женой, то я должен признаться, что это идеально коммунистические отношения. Если это правда, конечно.

— Я сказал правду. — Соловьев, видимо, обиделся и перестал передвигать письменные принадлежности. — Я понимаю, где нахожусь.

На улице грохотали грузовики, Эйдкунен и Соловьев обиженно и непонимающе смотрели друг на друга. И Шорохов представил себе вдруг, что это Соловьев допрашивает, а Эйдкунен стрелял в жену.

«И все было бы так же, они так же обиделись бы друг на друга...» — подумал Шорохов с какой-то новой и неожиданной неприязнью к Эйдкунену.

Эйдкунен пожал плечами и протянул Соловьеву лист дознания. — Прочтите и подпишитесь, — сказал он, лица сочувствия, жалобно взглянув на Шорохова.

Соловьев подписал и ушел.

— Вот, — сказал Эйдкунен: — слышали? — Два года совместной жизни. По обоюдным показаниям — ни одной ссоры. Ты слышал, как он сказал о своем быте? И вдруг глупая ревность — хлоп! — выстрел. . . И где? После парада, на банкете военной школы, где он — комиссар, а она — преподавательница французского языка. Хорошо — он ни в кого не попал. . . Но общественный эффект! И что значит «не удержался»? Не понимаю.

— Чего же ты не понимаешь? — раздраженно спросил Шорохов.

— Мне кажется, здесь что-то скрывается. . . — таинственно сказал Эйдкунен. — Они оба умалчивают о чем-то! Не может же быть, чтоб такой эксцесс возник из таких истинно-коммунистических отношений.

— Каких «истинно - коммунистических» отношений? — спросил Шорохов, морщась и поднося руку к виску. — Это — что он молчал и молча подозревал ее чорт знает в чем, вместо того чтобы попросту спросить, где и с кем она бывает! — горячо воскликнул он, вспоминая, как Соловьев переставлял письменные принадлежности.

«Что это я разгорячился?» — внутренне остановил он себя, опять улавливая в своей горячности отголоски того — ночного и беспокойного.

— Ты все это запутываешь. . . — сказал Эйдкунен мигая. — Это, что ты говоришь, — индивидуальная психология. А я скажу тебе, что это носится в воздухе сейчас — все эти любовные истории у наших партийцев.

«То, что он сказал, это лично ко мне относится. . . Но ведь сам же он ночью как-то разрешил мне с Любой,

Хотя что я? Что он мне разрешал? Не должно это — ночное и несуществовавшее — входить в дневное».

— Нам нужно найти какие-то прочные моральные установления, — говорил Эйдкунен, плавно покачиваясь и помаргивая, и Степан Григорьевич с болезненной пристальностью вглядывался в него и вслушивался в ровные интонации его голоса. Ему издавна были знакомы эти мысли Эйдкунена. Про себя он понимал их так, что Эйдкунену нужна какая-то общая система, потому что он боится, что если не будет у него такой системы, то, вникая в индивидуальную психологию каждого, он принужден будет всех оправдывать и никого не сможет осудить.

И внешне эта система мысли обладала всеми преимуществами правильности. Но практически Шорохову она никогда ничего не уясняла. Для себя Шорохов никакой системы не вырабатывал. Он всегда старался человечно и с пониманием войти в положение того, кого ему приходилось судить. Он мог оправдать любое преступление, становясь на точку зрения того, кто его совершил, и именно потому он мог беспощадно и безошибочно осудить это преступление со своей точки зрения. И, когда он осуждал, он делал это уверенно и смело, так как он не помнил о себе и не задумывался над тем, как это получается, что в его действиях воплощается партийная справедливость. Он смеялся над Эйдкуненом, который увлекался теоретическими построениями в области этики, бытовыми проблемами. Но сейчас получилось так, что характерная Эйдкуненская теория, сочиненная для того, чтоб уяснить дело Соловьева, и явно его не уяснявшая, всеми своими неправильностями задевала самого Степана Григорьевича,



то, что у него происходило с Любой, и он не мог вникнуть в дело Соловьева, потому что не мог забыть о себе и это его раздвояло: одна его половина судила, другая — предстояла суду, и осуждение Соловьева не получалось.

Дверь открылась. В комнату легко и бесшумно вошел чернявый парень в летнем костюме сурового полотна. В руках его была раскрытая брошюра, он, видимо, читал на ходу. Это был лучший из группы партийцев, которых ЦК, согласно резолюции по докладу Шорохова, сейчас направлял в Туркестан.

— А, Горлин! . . — обрадованно сказал Степан Григорьич, с облегчением переходя из запутанной и неясной сферы внутреннего мира в деятельный мир работы. — Ну, садись. . . садись. . .

Горлин мягко и крепко пожал руку Степана Григорьича, сел и положил ногу на ногу. — Эмманул Энчмен, — сказал он, указывая на брошюрку. — Очень вредная, упростиТЕЛЬСКАЯ и псевдонаучная ересь. Однако, у нас в Свердловске, кой-кто ею увлекается. Сейчас с этим воюем, решительно воюем!

Весь облик Горлина — его сухость, стройность и смуглота, его смелый и большой лоб, его опущенный черным, удлиняющий лицо, подбородок и нижняя губа, которая немного выдаваясь вперед, придавала ему выражение некоторой своенравности — все это нравилось Степану Григорьичу, и он успокаивался, слушая мягко рокочущие и убежденные интонации его голоса, которые он сопровождал еле заметными движениями пальцев на столе.

«Да, это большевик, настоящий большевик, — подумал Степан Григорьич и сам не заметил, что восхищаю-

щийся оттенок этой мысли странен и несвойственен ему. — Да, он туда годится, очень годится!»

— Ну так, значит, едешь! — сказал Шорохов, подтверждая этими словами правильность своего выбора.

— Вопрос решен! — ясно и раздельно сказал Горлин. — Я зашел за инструкциями.

— Что ж, инструкции. . . — Шорохов взял брошюру Энчмена и потряс ею в воздухе. — Этот вот путаник — младенец по сравнению с теми проповедями, которые ты там услышишь. . . С чем только там марксизм не путают!

— Ничего, мы распутаем! Сейчас, как никогда, надо нам бороться за чистоту нашей теории, за чистоту марксизма! — Горлин сказал это, поднял сжатый кулак, и лицо его залилось румянцем вдохновения и застенчивости. Шорохов почему-то про себя все это повторил, как бы проверяя. Но все было сказано хорошо. Это были правильные слова, нужные там, куда ехал Горлин.

— Ну и прекрасно! . . — удовлетворенно сказал Шорохов, опять впадая в любование Горлиным. — Как приедешь, в обкоме комсомола найди мою дочь Ольгу. . . Но это совсем не затем, чтобы от папшки гостинец передать, — добавил он, засмеявшись и встретив светло-серый удивленный взгляд Горлина. — Все это дело началось с ее письма ко мне. . . Где же оно? Но письма на столе не было, в карманах — тоже. Эйдкунен поднял голову от бумаг и осуждающе цыкнул, что значило: «сколько раз я вам говорил, что надо завести порядок на письменном столе!» Шорохов махнул на него рукой и смущенно взглянул на Горлина; тот что-то отмечал карандашом на полях брошюры, и осуждающее изумление его приподнятых черных бро-

вей и строгое покачивание головой явно относилось к Эммануилу Энчмену.

— Ты послушай-ка меня, товарищ Горлин, — сказал Шорохов, недовольный тем, что Горлин отвлекся от разговора с ним. — То, что я тебе говорю, пригодится тебе в Туркестане.

Горлин поднял глаза от книги, и Степан Григорьич стал рассказывать, постепенно разгораясь. То беспокойное и деятельное внимание, которое было у него к этой стране, плодотворной и нищей и много веков живущей слепой и стихийной жизнью, можно было назвать и любовью и ненавистью, и сейчас, взвинченный бессонной ночью, чувствуя биение пульса в виске, Степан Григорьич с особенной страстью старался передать Горлину свое ощущение этой страны. Горлин слушал несколько замкнуто, не откликаясь на горячность Шорохова. Но он записывал фамилии и имена, которые называл Степан Григорьич, и в его горячую речь вставлял несколько слов, которые показывали, что он уже ознакомился с книгами, статьями и материалами, которые были ему ранее указаны. Они попрощались, и Горлин ушел, уже на пороге начав опять читать брошюру.

«Он, верно, всю дорогу так читать будет...» — с нежностью подумал Степан Григорьич, представляя Горлина на полке вагона и в тряской арбе склоненным над книгой.

— Хороший парень! — сказал Степан Григорьич Эйдкунену. — Теоретически подкован — раз! Тверд — два! Заметь, как он говорит об этом Энчмене. И, наконец, три — спокоен и молчалив. Я вот хотя и люблю поболтать, но очень уважаю молчаливых.

— Да, — сказал Эйдкунен: — прекрасный товарищ и выдержанный коммунист. Прямо приятно смотреть.

Шорохов нахмурился: голос Эйдкунена сразу перенес его в мир ночных, недодуманных до конца, мыслей, в которых эти Эйдкуненские интонации тоже участвовали. «Что же препятствует мне жениться на Любе? — спрашивал он снова, видя ее перед собой. — И будет — как сегодня утром: она кладет свою руку на мою ладонь, и это мягкое, жгучее, страшное — нет еще теснее, нежнее и страшнее...» И, стиснув зубы, он глубоко вздохнул, и непроизвольно в его вздох закрался какой-то жалобный и тонкий звук. Эйдкунен поднял голову и недоуменно оглянулся. Шорохов с мучительным выражением смущенья застыл в своем кресле, но Эйдкунен даже не посмотрел в его сторону; он несколько секунд ждал повторенья странного звука со стороны двери, потом опустил взгляд в бумаги.

Шорохов перевел дух и пошевелился. «Что ж это со мной? — со стыдом подумал он. — Это я больной, просто больной. И, может, верно, уехать от всего этого в дом отдыха? И, может, все это отойдет от меня?»

7

Люба вошла в комнату Степана Григорьича. Как бы показывая себя, она развела руки, медленно повернулась кругом и встала перед ним.

— И ведь, Степа, в два раза дешевле, чем покупное! Да разве покупное такое достанешь? А шить как приятно!.. — взволнованно и убежденно говорила она, ощущая, как новое платье, тесно охватывающее грудь и живот, свободными и стремительными складками бежит по бедрам и ногам и особенно подчеркивает строй-

ность и складность ее тела, белизну шеи, краски лица и ржавую яркость волос.

— Стало быть, своею собственной рукой, Люба? — пошутил Шорохов, опуская глаза в газету.

Но она успела уловить — сейчас, правда, затененный шутливостью, — но опять же строгий и жалобный взгляд странный и тревожащий. . .

— Нет, ты скажи, Степа, как? Хорошо или плохо? И вот опять ты работаешь! А ну, дай сюда газету! Не позволю я тебе читать. — Она вырвала у него газету и опять разглядела в его глазах это новое выражение.

— Не дури, Любаша, дай газету! — сказал он, робко протягивая руку, но не делая в ее сторону никакого движения, а она, смеясь ртом и спрашивая глазами, стояла перед ним. Она чувствовала, что этими словами он хочет вернуться к тому недавнему времени, когда все эти поступки — и то, что она, не постучав, вошла в его комнату и стала ему показывать свое новое платье, и то, что она так властно высказала заботу о его здоровья и даже вырвала у него газету, — все это было совершенно невозможно и недопустимо.

Сейчас она хорошо чувствовала, что все это стало допустимым и позволительным, но не понимала почему. И опять и опять делая в отношении его это недопустимое, она точно спрашивала его, что это такое новое есть в его отношении к ней и опять видела жалобное и просящее выражение его взгляда.

— Люба, к тебе товарищ какой-то. . . — сказал Боря. Он вошел в комнату, и оба они, вздрогнув и покраснев, оглянулись на него, словно бы он их обоих застал за каким-то общим нехорошим делом.

Люба, не отдавая газеты, пошла в соседнюю комнату. Там были уже сумерки, но Люба сразу признала в темной фигуре, стоявшей у входной двери, Володю Булавина.

— Вот был у товарища. . . Он тут же в Доме Советов живет. . . Ну и вот — дай, думаю, проведу. . . — говорил он.

— А? — протянула Люба. Она не испытывала никакого желания разоблачать эти наивно-самолюбивые слова, которыми он пытался прикрыть то, что после ночной размолвки он первый пришел к ней. Она включила электрический свет и только после этого протянула ему руку, чувствуя его любующийся и самолюбиво-смущенный взгляд.

— Какая ты шикарная, Любовь Даниловна!

Люба повела плечами, посмотрела в зеркало и ничего не ответила.

— Я думал — ты заболела. . . — добавил он, — что не звонишь.

— Нет, — постукивая ногой, сказала Люба. — Прямо некогда как-то было.

Раньше она всегда первая звонила ему.

— Так. . . — он помолчал. — А я ведь послезавтра на Кубань еду.

— Надолго?

— Месяца на два. . .

— А-а-а, — протянула она опять.

Сквозь опущенные ресницы она видела его взволнованное лицо, но как бы отстранилась от этого потока его волнения, и оно шло мимо, не задевая ее. Она понимала, что ему хочется ее обнять и поцеловать. Но у

этого желания точно не было каких-то крыльев, чтоб подняться к ней. «Любовного разговора нет», — подумала она ясно.

Дверь из комнаты Шорохова внезапно открылась, и Степан Григорьич, в пальто и кепи, прошел через комнату.

— Здравствуй! — отрывисто ответил он на приветствие Володи, взглянул на него, потом на нее, — и она вздрогнула. Это был тот же волнующий и непонятный взгляд, но теперь в нем была и строгость и напряженная настойчивость. «Что же это такое с ним? — тревожно подумала Люба. — Нет, даже не так. . . А в нем ко мне...» И она уже путалась беспощадного хода своей мысли... «Нет, нет», и она краснела от возможности допущения этой страшной, но все объясняющей догадки. «Уходил бы скорей!» — подумала она о Володе и со скукой прислушалась к его словам. Он ласково и лукаво кончал мысль, которую она сразу поняла.

! — Обижаться тут нечего, к этому все у нас с тобой шло... Ведь тянуло же нас друг к другу, верно? И я считал, что ты передовая девочка, тебя улещать не нужно. Зачем эта интеллигентная канитель?

Он кончил, усмехнулся, взглянул на нее — и улыбка его стала напряженной; он ждал ответа и смотрел ей в лицо, а она молчала, перебирая каемку своего платья.

Эти его слова были вредны для нее, но она испытывала облегчение, точно явственно увидела уже миновавшую опасность. Она молчала и точно застывала, шевелились только ее пальцы, и она внимательно следила за их осторожными и спокойными движениями. Она почувствовала, как с ее лица он перевел свой на-

пряженно-вопросительный взгляд на эти движения, точно в них ожидая ответа, и разом она остановила движение пальцев, и они стали такие же спокойные, словно застывшие, как и она сама. Это точно объяснило ему что-то, и он стремительно встал.

— Ну, Любовь Даниловна, насильно мил не будешь! — и самолюбивая горечь отравила его чистый голос. — Прощай! Он протянул ей руку, она безмолвно подала ему свою...

И одновременно с тем, как она почувствовала его сухую и приятную ладонь, он другой рукой схватил ее стан, она уже слышала его горячее дыхание на своих губах.

— Ну, Любенька, один разок, на прощанье!

Она гибко и сильно вывернулась. Раньше, когда он обнимал ее, она сразу слабела, его сила словно входила в ее тело. Теперь она чувствовала себя независимо, отдельно от него живущей, и, вывернувшись, она взглянула на него, как он стоит с растопыренными руками, и ей стало смешно. Он заметил ее усмешку и сделал угрожающее движение к ней.

— Уходи, Володя! — сказала она, не двигаясь с места и спокойно встречая его злобный взгляд.

— Уходить? — сказал он, возвышая голос. — Ну, хорошо, я уйду. . . уйду. . .

Она понимала, что он хочет чем-то пригрозить, но пригрозить было нечем.

— Эх, ты, сука, — сказал он и ушел, хлопнув дверью.

— За что он тебя? — Люба оглянулась и увидела на пороге комнаты Борю. — Разве можно так ругаться? Ведь он что. . . он ведь коммунист. . . — говорил он со

страстной горячностью, тронувшей Любу, как проявление Бориной обиды за нее.

— Просто он дурак, Борюшка! . . — говорила Люба, целуя волосы Бори и удивляясь тому, что ее это ругательство не обидело

«Как у отца мягкие», — вдруг подумала она с какой-то новой нежностью. — Ты папе не говори, а то он и так нервный.

Совсем по-новому, с какой-то сознательной и внимательной ласковостью оглядывала она привычный мир их квартиры. Она шла из общей комнаты в комнату Степана Григорьича по мягкому, ее руками сшитому половику, и все предметы, ею купленные, сделанные, починенные и расставленные, словно приветствуют ее. Она вошла в комнату Степана Григорьича и даже вслух усмехнулась — во всем, даже в теплом воздухе его комнаты она ощущала слитными себя и его. Но вот большой портрет сестры. Из расплывчатого тумана увеличенной фотографии Наташа вдруг простиупает новыми, забытыми чертами, вот она дрогнула всем лицом, блеснула глазами, редкая и потому особенно свежая улыбка тронула ее умный и суровый рот.

«Она сильно его любила, — думает Люба, точно новым светом освещая сдержанную и ласковую женщину, заменившую ей мать. — Да и он ее тоже!» И в ней вдруг оживает то печальное и щемящее чувство, которое она испытала еще в детстве, когда впервые увидела, как Степан Григорьич жадно целует Наташу, а Наташа, закрыв глаза, гладит его плечи, его, тогда еще черную, голову. Тогда она забыла это непонятное мгновенное чувство, но теперь оно проснулось, назвало себя по имени и заговорило полным голосом. И ей вспо-

мнился какой-то тенистый сад, лето; посадив на одно плечо Ольгу, а на другое — Любу, Степан Григорьич носит их, и по левой руке Любы щекооткой проходит живое ощущение твердой и теплой шеи Степана Григорьича, пахнувшей какой-то сухой и душистой травой. И она багрово краснеет. . . Ведь взбредет же такое в голову! . . . Но ведь это же так. . . так. . . » и, когда она слышит шаги Степана Григорьича в соседней комнате, она глубже усаживается так, чтоб не видно было ее лица.

— Вы здесь, ребятки? — говорит Степан Григорьич, и он, потирая руки, становится посреди комнаты.

«А ведь он стройный и сильный, как был», — думает Люба.

— Степа! . . — спрашивает она, откашлявшись: — это где было — большой сад такой, и вот ты меня и Олю носишь на плечах? И Наташа где-то тут же?

Услышав имя матери, Боря поднимает глаза от книги, которую он читал за письменным столом, и лицо его делается вопросительно ласковым и бережным. Он ждет, что отец скажет о матери так, как всегда говорит, точно она где-то есть живая, но Степан Григорьич, глухо откашлявшись, отвечает отрывисто:

— Это было в Тюмени. . . Да. . .

Он обрывает свои слова и, остановившись перед Любой, добавляет:

— А знаешь, я решил тебя послушать и уехать в дом отдыха.

— Что? — переспрашивает она, не усваивая ненужный ей смысл слов.

— Да. Уже сговорился. Утром еду.

«Да, он едет. Но как же я? Что за глупости!» — она навливает она себя.

— Это очень хорошо, что ты едешь, Степа! Очень! — говорит она горячо.

Степан Григорыч опять шагает по комнате. Потом остановившись спрашивает:

— А Володя давно ушел?

— Нет, — краснея отвечает Люба, услышав в голосе его еле заметную и потому особо ощутимую дрожь, радуясь ей и ужасаясь своей радости.

— Кажется, хороший хлопчик. . .

— Ничего! . . — совершенно чужим голосом говорит Люба.

«Не подымать глаз, не подымать глаз!» приказывает она себе, зная, что нельзя ей встретиться взглядом со Степаном Григорычем.

И, прислушавшись к ее молчанию, Степан Григорыч вдруг говорит глухо: — Шли бы вы, ребята, отсюда. А то устал я очень.

За ширмой, на тумбочке, под электрической лампочкой, лежит курс тригонометрии. Через три дня зачет. Люба ложится, берет книгу, раскрывает и вдруг чувствует, что и эта книга и все остальное — лекции, и товарищи, и подруги, и ячейка, да, и ячейка — все это совсем не важное, постороннее, ее жизни не нужное, а самое важное — это то, совершенно необычное, радостное и страшное, что разворачивается между ней и Степаном Григорычем. На секунду она бледно представляет сердитое лицо Володи и отмахивается от него: все, что произошло между ними, кажется ей чем-то ребяческим и несерьезным, недостойным того, чтобы об этом думать. «Зачем Степа уезжает? Не надо ему

уезжать...» И она засыпает, настойчиво повторяя это про себя и превращая слова в несвязные образы, в теплые, бессознательные стремления.

8

Степан Григорыч знал, что Люба заметила его чувством. Но сказать ей о нем — было страшно, — как-то неправильно и стыдно. И он уехал, слабо надеясь, что чувство его само собой отойдет.

Но в мелкой свежее-зеленой листве подмосковных веселых перелесков дни и ночи шелестел тихий и теплый ветер, и луна подымалась выше и каждый вечер больше набирала своего жидкого и тяжелого света, и те из отдыхающих, что постарше и болезненнее, перед сном рассказывали друг другу что-нибудь «из своей жизни», и всегда в эти истории вплетались веселые и мрачные, низменные и возвышенные проявления любви, странные встречи, неравные браки, ревность, рвущая дружбу и губящая совместную работу.

Говорили об этом грустно и мягко, как о чем-то невозвратно прошедшем, но Шорохов слушал, не вставляя ни слова, и все же не уходил.

А на тех, кто здоровее и моложе, Шорохов старался не смотреть — и все же невольно замечал и затянувшиеся рукопожатия и вспышки румянца и особенные, точно остановившиеся, улыбки... А когда солнце, спелое и багровеющее, никло вниз, тогда все заметнее из дневной, веселой и шумливой стайки молодежи обособлялись пары, и те, кому пар не хватало, слонялись одиноко, беспокойно и жалко. Все замолкало, и тоска по Любе охватывала его с той сосредоточенной силой, с какой человека охватывают голод и жажда. Все, что

происходило сейчас с молодыми, находило в нем горячий отзвук, — ведь он еще сохранил и особенную, тщательную чистоту одежды, и веселую, уверенную легкость походки, и все то очарование, которое толкало женщин к нему в пору его молодости и юности. И по руке его опять проходила мягкая и жгучая щекотка Любиной ладони, и он слепо и немо сосредоточивался на этом ощущении, и оно заставляло его вспоминать какие-то новые оттенки нежного внимания, которые были у Любы перед отъездом, и он мечтал, каким голосом он заговорил бы с ней, каким взглядом он бы ей ответил, как нежно и сильно охватил бы он ее тонкий пояс над широкими бедрами и склонился бы к ее губам. Но тут же он ужасался своим мечтаньям, и ему начинало казаться, что ее нежность — это только родственное чувство, и ему представлялись она и Володя вместе, и он унижительно ревновал и эту же нежность ее и заботливость объяснял уже как насмешку над его чувством. . .

Иногда же им овладевало другое. По внешности это были очень практические и деловые мысли о том, чтобы жениться на Любе, помогать ей развиваться, воспитывать ее как хорошую коммунистку. Эти мысли выговаривались очень четкими и уверенными словами Эйдкунена, что-то неосуществимо-мечтательное и потому недопустимое было в них, и потому, когда Степан Григорьич вдруг ловил себя на том, что, улыбаясь сам с собой, он думает так, ему становилось стыдно. «Но почему? — спрашивал он себя. — Ведь я передам ей свой революционный опыт. Нет, это очень хорошо и правильно!» Но он не мог убедить себя в правильности этих мыслей, и они неотступно стояли перед ним, и Сте-

пан Григорьич был от них в зависимости, которая была также странной и непонятной зависимостью от Эйдкунена.

Когда Эйдкунен неожиданно навестил его, Степан Григорьич отнесся к нему настороженно и сдержанно. Эйдкунен этого не заметил. Он, вспотевший от жары, подернувшийся легкой серой пылью, среди всяких прочих дел рассказал также о том, что к нему явилась жена Соловьева, заявила, что она во всем виновата, что она разжигала Соловьева на ревность. «Сейчас он так же оправдывает Соловьева, как он оправдывает меня с Любой», — подумал Степан Григорьич, неприязненно и беспокойно вглядываясь в Эйдкунена. Но Эйдкунен молчал.

— Хорошо здесь! — сказал он, оглядываясь и вздыхая.

Поблизости, с крокетной площадки, доносились веселые голоса. Звонко ударил молоток о шар. И Эйдкунен вдруг задумчиво добавил:

— Да! А дело Соловьева придется, пожалуй, пересмотреть. Раз она его разжигала... это смягчает...

«Смягчает?» — спросил себя Степан Григорьич, вдруг чувствуя, что он как-то лично и неправильно радуется этому. Оставив без внимания прочие, более важные, дела, Шорохов стал расспрашивать Эйдкунена о жене Соловьева, но Эйдкунен говорил какими-то тусклыми и ничего не обозначавшими, хотя и стройными фразами. Надо было увидеть жену Соловьева, самому расспросить ее. И Степан Григорьич решил, что ему поэтому надо немедленно же съездить в город.

Он ехал, то раздраженно чувствуя власть Эйдкунена над собой, словно бы тот насильно вез его в город, то

радуясь тому, что увидит Любу, и немо сосредоточиваясь на этой радости.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

9

Любы не было дома, но на стол брошено рукоделье, мотки шерсти разных сортов, — и эта горячая пестрота ярких ниток словно дает выражение всей комнате. «Люба» взволнованно назвал Степан Григорьич все, что его окружало, — все эти предметы, на которых был отпечаток Любиной деятельной руки. Он тронул мотки; они раскатились по столу, мягко попадали на пол, и, когда он нагнулся, чтоб их поднять, вошла Люба.

— Степа, ты? — радостно спросила она.

— Как видишь, Любаша. . . — Произнося эти слова, он поднял с пола мотки и, относя к ним свое виноватосмущенное и отдающееся выражение лица, добавил: — Вот разорял я у тебя. . .

Но она уже жадно и радостно вобрала в себя то, что было на его лице, и оставила без внимания эти невнятные его слова. Это был тот самый виноватый и просительный, жалобный и страстный взгляд, который ей был нужен, как огню нужен воздух. И вот этот человек стоял перед ней и волновал ее невероятным соединением знакомых и милых черт и того и значительного и немного страшного, что изнутри по-новому освещало его.

— Рукодельничаешь? — спросил Шорохов, указывая на вышиванье и пытаясь насмешливой улыбкой прогнать смущение. — Наташа всегда говорила: Любка рукодельница будет.

— Сама-то она не очень была насчет рукоделья, все пуговицы я тебе пришивала! — сказала Люба горячо и быстро.

Она, правда, много рукодельничала в эти вялые дни, в которые не хотелось ни учиться, ни заниматься спортом, ни видеть людей. Но, в то время как искусные пальцы Любы сами следовали ее рукодельному замыслу, в голове ее проходили неторопливые мысли. Эти мысли, казалось, зарождались из того теплого и обжитого мирка, которым были для нее эти две, отграниченных от всей вселенной, комнаты. Она была в центре этого мирка, она стояла там, где должна была стоять та, которая навсегда исчезла, — Наташа, сестра... Люба вспомнила, как с детства она, еще маленькая, доделывала тысячи семейственных мелочей, которые не доделывала сама Наташа, занятая партийной работой. И теперь Люба, оглядываясь в прошлое, думала, что Наташа была плохой женой. Люба представляла Степана Григорьича таким, каким знала с детства — воплощением мужественного веселья и смелой силы, и она вспомнила его глаза, ласковые, жалобные и просительные, и дальше она уже не думала, сосредоточиваясь на властном и созерцательном стремлении к нему.

И как только она увидела его, сразу же жизнь пошла в ней быстрее, и все неторопливые и неоконченные мысли, которые она передумала за эти вылинявшие и замедлившие свое движение дни, сразу сложились в сильные и быстрые и внезапные для нее самой слова о Наташе, и сразу она зарумянилась, заулыбалась. Своей сильной, открытой до локтя, белой, но уже начинающей розово загорать, рукой распахнула окно, — в комнату вошел тихий и теплый ветер.

И Шорохов с тревогой почувствовал, что в ее словах о Наташе есть что-то, похожее на его как-будто очень практические и революционные и все же неправильные мечтания о совместной жизни с Любой. Но он не вдумался в эту свою тревогу: его поглощала радость видеть и слышать ее и отмечать, что в сарафане осеннего ржаво-багряного листа, повторяющего яркие краски ее волос и лица, в крепконых новых сандалиях, она, плотная и широкая, вся наполнена той простой жизненностью, о которой он как будто забыл в своих мечтах о ней.

И он не вдумывался в то, что она говорила. А она рассказывала, что Борис уехал в пионерские лагеря и прихватил с собой Вальку. . .

— Валька очень просился, ну я и отпустила, пусть побудет среди мальчишек, а то он все со мной — и растет зюзя зюзей. . .

Шорохов с неосознанным наслаждением слушал те ноты зрелой, почти материнской нежности, которые колыхали ее голос. Она замолчала, мельком и искоса взглянула на него и подошла к окну.

«Что же?» — подумал он внятно. — Вот я приехал. . . И я с ней. . . И мне надо с ней быть. . . Хорошо бы, чтоб она там была. . .» — подумал он о радостной жизни весенней природы в доме отдыха.

— Вечер у меня сегодня свободный, — сказал он вслух. — Можно бы. . . — он остановился, раздумывая: — на лодке поехать. По крайней мере я посмотрю, что ты за спортсмен! — сказал он, прикрывая обычной ласковой насмешливостью свои необычные слова, исходившие из той же новой основы их отношений, исходя из которой Люба перед его отъездом в дом

отдыха пришла показывать ему свое новое платье... И, взглянув на него, она кивнула головой и стала неторопливо поправлять перед зеркалом волосы. Она разом обрадовалась и успокоилась: его слова о лодке — это было то, что она ожидала.

10

Легко и сильно откидываясь назад, Люба вывела лодку к Нескучному саду. Со стороны зеленых Воробьевых гор потянуло свежестью и тиной, и Шорохов разом почувствовал себя и Любу отделенными от веселого городского шума, в котором они несколько минут тому назад шли, перебрасываясь шутками, скользя точно по уговору поверх того, что — они знали — сейчас происходит с ними обоими. А сейчас, взглянув на то, как уверенно сидит она, как крепко уперлись в доску ее сильные ноги, какое наслаждение собственной силой дрожит на ее лице, как бы отразившем багряные краски закатного неба, отсветами качающиеся на воде за ее головой, — он разом прервал свой рассказ о том, как плыл на плоту по Лене, и воскликнул:

— А хорошо же ты гребешь, Любаша!

Она улыбнулась, белыми зубами прихватила свою тепловато-красную губу, и еще больше силы заструилось по трепещущим мышцам ее рук, и еще сильнее пошла лодка.

Степан Григорьевич молчал, вглядываясь и вслушиваясь и внюхиваясь во все вокруг — и в блестяще засветлевшую воду, и в журчащие всплески весел, и в огни и звон города, и в людские голоса, кругло раскатывающиеся по воде, и в темную и вязкую густоту воздуха, в которой большой неясно зеленеющей глыбой выступили Во-

робьевы горы. И он указал в их сторону и сказал негромко:

— Поедем туда, Любаша. . .

Она кивнула головой. Он повернул лодку. Опять они молчали, ничего не слыша, кроме ритмических всплесков своих весел. И вот недалеко от них в зеленой густеющей темноте мерцали белые рубашки березок. Ночной, тихо шелестящий лес был уже рядом, стало сильно пахнуть свежей листвой и травой, очень близко всхлипывали лягушки, сонно засвиристела птица, и Люба разом перестала грести. В наступившей тишине Шорохов уловил какую-то тревожную, цепенеющую неподвижность, огляделся и безмолвно указал Любе — над огнями города подымалась грозная, почти черная синева. . .

— Дождь. . . Перемена месяца. . . — нежно, как дремлющая птица, выговорила Люба.

Ночная свежесть льнула к ее влажно-запотевшему телу, и откинувшись назад, она отдыхала и ни о чем не думала, даже не прислушиваясь к себе, спокойно, радостно и немо откликаясь на те легкие колебания лодки, которые исходили от каждого неслышного вздоха Степана Григорьича, от каждого ему самому незаметного движения его тела.

— Тебе хорошо, дя Степ? — прошептала она.

— Да. . . А тебе?

— И мне тоже.

Вдруг случилось что-то, что нарушило всю эту нарастающую и нарастающую стройность. Это было прокатившееся с высокого берега, над самой лодкой, хриплое, гогочущее матерное ругательство.

— Вот сволочь какая!.. — почти со слезами сказала Люба.

«И он молчит и смутился, и все испортилось. . .» — подумала она.

Но Степан Григорыч в этом гоготе уловил что-то, совпадавшее с той нарастающей и нарастающей стройностью, в которую они оба были включены. И как только он услышал досадливые слезы в голосе Любы, он сразу нашел слова для выражения этого совпадения и ответил ей, спокойно и ласково усмехаясь:

— А вот, Любаша, представь. . . Идешь это ты над речкой одна. . . по лесу. . . Крутом — вот так, очень хорошо. — Там вон. . . город звенит. . . И охота закричать во всю силу. . . верно?

— Ну, а ругаться зачем? — недоуменно спросила Люба, вглядываясь в лицо Степана Григорыча, чтоб рассмотреть его выражение, не видимое за темнотой.

— А других слов нету. Ну и кричит, как может.

Степан Григорыч горячо заговорил о некультурности, стал приводить примеры. . . Люба подняла весла, зазвенела уключинами. Она не слушала, что он говорил, но благодарно удивлялась его силе, которая даже это вот, безобразное и похабное, сумела включить в общую стройность. . .

11

Лодка подошла к пристани, недвижно чернеющей над живой и зыбкой водой, в которой трепетали отсветы фонаря. Шорохов прыгнул на доски, — лодку зашатало, Люба потеряла равновесие, схватила его протянутую руку, и ее словно кинуло в его сторону; она на миг прильнула к нему, и тот же судорожный озноб, как

и от прикосновения ее ладони, но еще более сильный, прошел по его телу, и точно упала какая-то пелена, которая была на их отношениях, и он с ужасом и восторгом подумал о том, что детей сейчас дома нет и они будут вдвоем ночевать в пустой квартире. И Люба разом отпрянула от него: это же неясное, вызывающее тревогу представление зародилось в ней; но она не старалась это выяснить для себя и шла рядом со Степаном Григорьичем, и приятное изнеможение колебалось в ней в лад ее ровной походке, и тревога укачивалась и точно засыпала.

«Я не сделаю это... Я не должен это сделать... Я должен раньше сказать... сказать...» — думал Степан Григорьич, но у него сохло горло и ломило суставы пальцев. «Может, из дому уйти...» — но он даже не ответил себе на эту бледную и немощную мысль.

Погруженные в свое, они вошли в комнату, наполненную теплым, душистым и веселым воздухом, и опять, как в лодке, они почувствовали себя отделенными от всего света. Но сейчас это ощущение заставило Любу разом испуганно отстраниться от него.

— Устала я, Степа... — сказала она хриплым, словно отсыревшим голосом.

— Да... И я тоже... — сказал он и, круто повернувшись, ушел в свою комнату.

Он желал сразу заснуть и раздевался в темноте, насильно наполняя голову бледными обрывками дневных мыслей.

Как только хлопнула дверь, она почувствовала, что ей не хотелось, чтоб он ушел. «Значит это есть... — отчетливо подумала она. — И все будет так... так... как должно быть». И она первый раз назвала себя

его женой. «Дура! — сказала она себе, но радостно покраснела в темноте. — Ведь перед этим будет долго, очень долго, что мы будем все время вместе, гулять как сегодня на лодке — и враз. . . он поцелует меня, как Володя». Она прислушалась к себе и убрала последние слова — она почувствовала, что со Степаном Григорьичем будет как-то по-другому, чем с Володей.

Она уже легла, но в ней было какое-то зудящее и горячее беспокойство, какая-то тяжелая сила ворочалась в ней, и Люба не могла найти удобного положения и ждала чего-то, — но в синих окнах недвижно висели голубые от луны занавеси, и воздух в комнате стоял, как спокойная вода. Она захотела повернуть подушку, поднялась на локте и вдруг остановилась в недовершенном повороте. . .

Степану Григорьичу представилось, что Люба гребет, что опять они в лодке, но тогда эти плавные и сильные движения шли, подчеркивая и освещая все кругом, и вызывали глубокое и нежное любовное влечение всем прекрасным миром, а сейчас эти движения поглотили без остатка все окружающее, они жили сами по себе и звали, звали, и он стремился к слиянию с ними и, проснувшись, с бьющимся сердцем услышал, как из-за стены зазвенели пружины ее кровати, и разом вскочил на пол и холод обжег горячие ступни его ног.

«Так, видно, должно быть, что я женюсь на ней. . .» — бледно подумал он, включая сюда все свои Эйдкуненские мысли о поколениях революции, соединенные с практическими мечтами о совместной жизни, и предполагая, что этими словами он выразил

свою слепую зависимость от силы, восставшей изнутри его и им овладевшей. И, как слепой, наскочив на ярко освещенный луной стул, он пошел к двери. И как только он пошел, сразу же против этой силы, которая его вела, проснулась другая сила, запрещающая ему идти и нарастающая в нем с каждым шагом.

Стук упавшего стула показался Любе раскатом грома, и она сразу вышла из своего прислушивающегося оцепенения и вскочила с постели на пол. Он светлой тенью появился в дверях.

«Но это еще не должно, не должно быть... Этому еще рано». Но мысль эта была вялая, как рука во сне, и ей казалось, что он неожиданно стал посреди комнаты и не идет к ней, это было невыносимо.

— Не надо... не надо... — испуганно, задыхаясь, сказала она.

Степан Григорыч остановился, когда наступил вышший момент нарастания сил, сопротивляющихся тому, что он делал. «Что же это я?» — спросил он себя. Но в этот же миг до него дошел ее задыхающийся шопот, и что-то такое было в ее шопоте, отчего восторг прокатился по его телу, и, потянув ноздрями воздух, он услышал простой и радостный запах, похожий на запах апрельской земли, и сделал шаг и другой, и вот он уже ощущал руками ее — горячую, тяжелую, дрожащую, слабо отталкивающую его руки, прерывисто что-то шепчущую. И точно вновь в несколько секунд пройдя те томительные недели, которые отделяли миг, когда он в первый раз увидел ее нагою и услышал этот апрельский запах, до того момента, когда он впервые почувствовал жгучее прикосновение ее мягкой ладони, — он вдруг ослепительно ярко почувствовал не-

выразимую никакими словами, какую-то конечную правду, которая и называлась счастьем.

«Не надо, не надо. . .» — шептала она, чувствуя, что тело наливается тяжелой слабостью и все сопротивляющиеся движения точно утекают в тот момент, когда она снова и снова чувствует эти сильные и ласковые, нежные и безжалостные руки.

12

Что-то непривычное мешало Степану Григорьичу спать, и что-то другое, ропотливое, монотонно-дробное, влажно-хлюпающее, тянуло обратно в сон. Но вот то, что мешало спать, оформилось как теплое дыхание, колеблющее волосы на виске, как шелковистая и тяжелая мягкость руки вокруг шеи, — и Степан Григорьич открыл глаза. Он признал себя проснувшимся за Любиной ширмой, и то, что было ночью, эти исконные, давно не испытанные радости, — все это опять обрадовало его. . .

Но теперь свежестью веяло из окна. То неостановочное, дробное и хлюпающее, что его тянуло в сон, — было дождем; в углах еще дремала голубизна, но в городе звенели трамваи. Знакомое, давно не испытанное и ни с чем не сравнимое усталое успокоение чувствовал в себе Шорохов; он мысленно отделил тело Любы, налитое горячей, упругой и молодой жизнью, от своего тела и потому особенно ощутил вновь то, что произошло, и почувствовал гордость за свою мужскую силу. И сразу же легко пошли в его голове мысли о работе: он вспомнил, что ему надо увидеть жену Соловьева, и отодвинулся от Любы, снял ее руку с шеи, поднял голову, но Люба тут же схватила его руку, открыла

глаза и увидела над собой то самое лицо, которое все время сна, казалось, жило под ее веками, и ощущение обновленности жизни и какой-то спокойной завершенности щекошкой прошло по ее телу. Она крепко прижала к груди его большую, сильную и ласковую руку. И, еще не совсем проснувшись, она тянулась к нему и опять охватывала его шею и пригибала его обратно к подушке.

— Степанька, ты... ты... — ее голос переходил в благодарное и нежное мурлыканье: — дуся моя ненаглядная... котик мой милый...

Эти слова произносила она ночью, и сейчас, также как ночью, она подчеркивала их правдивой и нерассуждающей ласковостью тела и дрожью голоса. — И вдруг они показались ему какими-то недопустимыми и неправильными, словно бы не их он хотел.

Но близко около самых глаз он видел на живой белизне ее округлого плеча красные пятна своих поцелуев, и волна совершенно новых чувств — связанности с ней, жалости к ней, виноватости перед ней — вдруг хлынула на него. Он нежно поцеловал ее в лоб, в ее еще не проснувшийся светлый глаз и вздохнул. И она, уловив грусть в этом взгляде, подняла голову, взглянула на него и сказала, ласково и просительно глядя ему в лицо:

— Я тебе лучшей, чем Наташа, женой буду! Я о тебе заботиться буду!..

«Что это она говорит такое?» — тревожно спросил себя Шорохов.

А она продолжала горячо: — И ведь ребятам я как мать буду!

Степан Григорыч настороженно вслушался. В этих

словах словно бы было осуществление тех практических мечтаний, которые он внутренне произносил говором Эйдкунена. «И ведь Эйдкунен же привез меня сюда!..» неприязненно подумал Степан Григорьич.

— Киса моя родная и ненаглядная! — сказала Люба, спадая на прерывистый шопот, замолчала, и горячие счастливые слезы выступили на ее глазах.

И эти ее любовные слова толкнули его по тому же ряду мыслей; они не только были неприятны — они были словно опасны, они накидывали на него какую-то прозрачную, но крепкую сетку. И ему разом, бледной тенью былых ощущений, вспомнился уже навсегда рассеявшийся мир умной и какой-то совсем другой Наташиной ласки. Но Люба была рядом, сквозь тонкую сорочку он ладонью ощущал горячую и влажноватую тяжесть ее тела.

И, словно находя равнодействующую всех этих противоречивых побуждений, он сказал ей спокойным и ласковым голосом:

— И я люблю тебя, Любанька. А вставать нам пора!

Он отнял свою ладонь от ее тела, поцеловал ее в лоб и ушел в свою комнату.

Она осталась сидеть на кровати. Как-то не так ровно-ласково должен был он говорить и не так — в лоб — целовать. И она свела брови, подумав, что все произошло очень как-то быстро и без любовного разговора.

Но она прислушалась к себе: в ней дрожало ощущение спокойного и удовлетворенного счастья. Она оглянулась вокруг, и все это обыденное и простое — и этот начинающийся сероватый день, и шум города, и дождь за окном, — все это подтверждало и укрепляло прочность ее счастья, и ей захотелось поить его чаем,

кормить его чем-то вкусным, что можно приготовить только своими руками.

И Шорохов услышал, как она босиком прошлепала к умывальнику, как весело и неверно запела:

Ах, милый, милый, милый...

Потом зажурчала вода, она охнула и прервала пенье, и только через минуту, уже вытирая полотенцем тело, она допела, задыхаясь:

Мой голубь сизокрылый...

Шорохов улыбнулся, постигая ощущения этого тела, ставшего понятным, как свое.

«Да, это должно было случиться, что случилось», — сказал он себе и стал разбирать свои бумаги.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

13

В комнате Шорохова сосредоточенная и сумеречная тишина. Валька лежит на ковре, вокруг него рассыпаны спичечные коробки и кубики, он пишет в тетради очень большие и кривые цифры, порой задумывается, перечеркивает их и взглядывает на брата. Тот, встав коленями на стул, навис над письменным столом. Ему неудобно, и больно коленями, грудь сдавлена, но уши у него красные, губы еле заметно движутся, не поспевая за глазами: он читает, и если его попросить объяснить, — он или ничего не ответит, или обидно крикнет: «отстань!»

На лето Вальке задали придумать разные задачи и самому их решить. Раньше он придумывал на спички, и это было легко. Но сейчас он был в пионерском ла-

тере, его поразила однообразная множественность этих детей в зеленом, и он хочет придумать задачу на пионеров.

Но задача не выходит. Ведь с пионерами нельзя так, как со спичками: было пятьдесят две, а взяли и прибавили тридцать шесть; или: спички лежат в двенадцать рядов, а всего их двести сорок — сколько в каждом?

Вот весь отряд ушел купаться и оставил восемь ребят, чтобы они сторожили лагерь и готовили обед. И Балька пишет на полстраницы продолговатую цифру восемь. И вот трое должны приготовить дрова — и Валька пишет оскаленную и большую тройку и задумывается, вспоминая, что мальчик, который рубил дрова, Володя Долгов, он высказывался, он замахиваясь делал страшное лицо и двое других детей, девочка и мальчик, смотрели на него с восторгом, и Вальке хочется самому рубить дрова, чтоб на него смотрели также... И вот Валька не может превратить пионеров в цифры: каждый не такой, как другие, задача растекается и превращается во все — в весь мир, где все не похоже на другое, и вот уже Валька замечает, что и цифры не похожи одна на другую, уж на что простая единица, а и то — есть кривые и злые, тонкие и долтоносо-здумчивые. . .

Нет, надо спросить Любу. Она рядом в комнате на обычном своем месте, в кресле, у окна, она зашивает папину черную рубашку, и целый день она какая-то ласковая и веселая. Валька хочет быть с ней, забирает тетрадь. . . и в этот момент слышит Любино радостное восклицание и заглушенный голос отца, которого он не видел много дней. Валька бежит в соседнюю комнату и разом останавливается на пороге: Люба и Степан

Григорьич стоят посреди комнаты, они как-то очень хорошо, тесно вплелись друг в друга, за темно-ржавой головой Любы не видно лица Степана Григорьича, большая смугло-темная рука его движется по ее спине — по ярким цветам ее сарафана, закрывая то один, то другой цветок, и Вальке нравится все это, и он испытывает темное, ему самому непонятное волнение. Но вот Степан Григорьич поднял голову и сразу оторвал от себя Любу. Люба оглядывается на Вальку, отстраняется от Степана Григорьича, и Валька видит, что их лица пылают непонятными чувствами — тем странным соединением стыда и радости, которое бывает только у взрослых. И вот Люба бежит к Вальке и берет его на руки и целует его весело, ласково и гордо, и несет к Степану Григорьичу.

— С поличным поймал, — говорит Степан Григорьевич, целуя Вальку в лоб.

И опять Валька чувствует, как сплетаются друг с другом эти два человека, и то, что он весь в этом теплом и тесном сплетении, то, что он одной рукой обнимает шею Любы, а другой — твердое плечо Степана Григорьича, то, что он слышит их трепещущий и переливающийся гортанный смех, все это очень хорошо.

Но разом они оба перестают смеяться и смотрят на дверь кабинета. Валька оглядывается — там стоит Борис, и от его лица идет то холодное, недоумевающее и негодующее, что заморозило смех отца и Любы, и Степан Григорьич отстраняет Любу, и Люба опускает Вальку на пол.

— Здравствуй, Борис!.. — говорит Степан Григорьич, откашлявшись.

«Ему стыдно... Почему ему так стыдно?» — думает Валька, глядя в лицо отца, и жалеет его.

— Слушай, Боря... И ты, Валя... — превозмогая себя, говорит Степан Григорыч. — Вот жили мы... — и он обводит кругом рукой: — четверо. Жили хорошо, дружно. Да... И потому я должен вам, ребята... то есть не только я, а мы вместе, — он указывает на Любу: — прямо сказать... Вот... — Степан Григорыч глубоко вздыхает ртом, его косоворотка шевелится, и Люба так крепко сжимает Валькино плечо, что делается больно. — Решили мы, ребята... — продолжает Степан Григорыч: — то есть мы уже... да... мы поженились... — и Степан Григорыч стирает пот, мелко выступивший на лбу.

«Так вот что это», думает Валька о том ласковом сплетении, частью которого он был. «И Люба мне будет мама...»

— А мама как? — говорит Боря, и губы его дрожат, а смуглое лицо странно сереет.

— Борюшка! Я же тебе как мать... как мать... — восклицает горячо Люба и стремительно подается в сторону Бориса.

— Ты? — И он смотрит на нее, точно бьет, и она застывает в своем порыве. — И как же тебе не стыдно, Люба. — С папой...

— Борис!..

Люба бледнеет, закусывает дрогнувшую губу, хмурится, а Борис делает вдруг странное порывистое движение: он, точно падая, всплескивает руками и так, падая и бормоча, выбегает из комнаты. В первый раз Валька видит, чтоб Борис так делал. Это похоже,

точно он начал плясать. Над этим засмеяться нужно было бы, но Вальке хочется плакать.

«Что же это такое все...» — и Валька с горьким недоумением и тоской глядит на сосредоточенно пристыженное лицо отца и на то, как по щекам Любы медленно катится тяжелая и светлая слеза.

14

Борис шел в синем и пыльном шуме городского летнего вечера, в густой, говорливой и жаркой толпе. И то, что все эти взрослые люди, занимаясь собой и друг другом, толкали его, маленького, сейчас было очень обидно и оскорбительно, и он шел по мостовой и переходил на тротуар только тогда, когда на него накатывались светящиеся шары авто или разодранная удилами морда лошади.

Живые и напряженно трепещущие образы из недочитанной книжки Сэтон Томпсона о зверях, их целесообразно-легкие движения, драки, осторожное обнюхивание, простая, суровая и прекрасная жизнь, — все это то закрывало перед ним настоящее, и он забывался; то это рассеивалось, и, как сквозь разорванные облака, видел он то стыдное и немыслимое, что было в словах отца и что отсвечивало на его лице и лице Любы, и он ускорял шаг, и нехорошая остренькая тоска начинала что-то делать в нем, и ему было больно, но он не находил смысла этой боли.

Вдруг тоненько и звонко крикнули его фамилию. Через улицу, увертываясь от авто и колясок, перебегала пухлая девочка в пионерском костюме, и, узнав ее, Борис разом нахмурился, но она уже стояла возле, и он видел ее матово-розовое и пухлое лицо, на котором

особенно ярко и влажно блестели выпуклые блестящие глаза — виновато-ласковые и неприятно-знающие.

— Ты давно из лагеря? — спросила она, немного задыхаясь от бега.

— Сегодня... — отрывисто ответил Борис, сунул руки в карманы и пошел, не пригласив ее. Но она сама пошла рядом, стараясь попадать в его широкий шаг.

Эту девочку Боря знал еще в детском саду. Звали ее Берточка Файнерман, между ее отцом и матерью было что-то нехорошее — отец почему-то убил кого-то, а мать год была в сумасшедшем доме.

Берточка главенствовала над робкими и тихонькими девочками, но из этих девочек ни одна не пошла в пионеры, а Берта пошла. В летнее купанье она барахталась всегда у песчаного берега, где вода доходила до колен, и боялась учиться плавать, не умела грести. Плохо ходила на лыжах. Это все Борису не нравилось, но безразлично относиться к ней, так, как он относился ко многим пионерам, которые ему не нравились, — он не мог. Он на себе очень часто чувствовал тяжесть ее внимательного, ласкового и нехорошего взгляда. И сейчас, когда она спрашивала, что делается в отряде, все вопросы ее казались ему притворными, и он отвечал небрежно и односложно. Увертываясь от автомобилей и извозчиков, они быстро дошли до площади.

— Ты куда идешь сейчас? — спросила Берта.

«А, верно, куда я иду?» — подумал он, нерешительно сбавляя шаг. Невольно, не думая об этом, он шел в направлении отряда... И сейчас ему стало одиноко, грустно и горько — идти было некуда. Отряд — зеленые палатки, огни костров, воинственные переливы

трубы и ребята, сложно соединенные вместе и различные, — все это было далеко. Он был один — с этой неприятной девочкой.

Она смотрела на него ласковым и, казалось бы, все понимающим взглядом, и Борис сразу подобрался.

— В одно место надо пройти, по делу. . . — сказал он сухо, надевая личину того делового, ни о чем кроме пионерской работы не думающего, примерного мальчика, которую он принимал перед теми ребятами, которых он не любил. — Прощай, Файнерман! — бросил он небрежно, поворачиваясь к ней спиной.

— Подожди, Шорохов! — вдруг сказала она, и в ее голосе была слезливая дрожь.

«Заплачет еще», подумал Борис досадливо.

— Подожди. Я . . . мне . . . И вот ты думаешь — я к тебе набиваюсь. . . — горячо сказала она — ну и что же, думай как знаешь! Но я так обрадовалась, как увидела тебя, Боря. . .

Его поразило, как легко и ласково выговорила она его имя, точно много раз называла его так.

— Ведь мне . . . ведь я . . . ведь очень хочется подружиться с тобой. . .

Слова эти шли так, точно они не умещались в ее гортани, царапали ее, и она все время откашливалась, и при свете электрического фонаря Боря видел, как влажно заблестел ее нежный висок, на который выбились коротенькие вьющиеся волоски. Как всегда было с ней неловко и хотелось уйти, но удерживало то, что она заплачет.

— Вот ты, Боря, всегда со Ставицким, с Коганом, с Гуськовым. . . И, правда, вас все любят, и вы самые активные пионеры. . . — говорила она взволнованно. —

Но мне хочется с вами дружить, и больше всего с тобой. Но ты. . . И вот я потому обрадовалась, как тебя увидела. А ты. . . ты вот молчишь все. . .

Она перестала говорить, и он, не глядя на нее, почувствовал, как она жадно и вопрошающе смотрит на него.

— Вот, Файнерман, ты говоришь, я с тобой не дружу, и ребята тоже, — медленно начал говорить Боря, стараясь вспомнить все то предосудительное, что сделала эта черненькая девочка, почему с ней надо не дружить. — Но как же с тобой дружить, Файнерман, когда ты такая! . . . Пионеры в лагерях все, а ты у мамы юбки пришта. . . — сказал он одну из своих неприязненных мыслей и тут же спохватился, вспомнив, что с ее мамой связано какое-то неблагополучие. — Ну пошли. . . — сказал он сухо и свернул на бульвар, где тоже толпились взрослые, где в темноте рокотали мужские голоса и вспыхивающие папиросы освещали женские лица, все каким-то особенным, непонятным раздражением похожие друг на друга и напоминавшие ему Любу и отца.

— Мне, Боря, нельзя из города. . . — тоненько говорила рядом Берта, — ведь мама моя. . . — и какое-то непонятное болезненное и ласковое колыхание было в ее голосе: — Ведь она хуже маленькой. Она без меня боится.

— Но разве ты. . . ведь ты же сама. . . — он хотел сказать — «трусиха», но это слово ему показалось вдруг неверным, и он сказал: — сама маленькая.

— Вот я маленькая, а мама со мной дружит как с большой. — Это были лестные для маленькой слова, но она сказала их с грустью. — Но ведь я же маленькая, Боря, и мне хочется дружить с маленькими, и вот я

смотрю, какой ты добрый и храбрый, и я бы очень много тебе говорила, но ко мне ты такой гордый! Такой недоверчивый! — Она вдруг неожиданно всхлинула, побежала вперед и исчезла в темноте.

— Дура! — пробормотал Борис. Только почувствовал он что-то важное в ее быстрых, бессвязных и горячих словах, как все вдруг прервалось. Он остановился: идти было некуда, надо было вернуться домой. Он шел, и мысли его не меняли очертаний и были неподвижны, как чугунно-синие тучи в безветренный день.

Дома тихо. Все спят. В том же состоянии неподвижной тоски пил он оставленное для него молоко. И вдруг ему послышались из комнаты отца заглушенные, воркующие звуки Любиного смеха. Борис взглянул на Любину ширму. Оттуда не слышно было Любиного сонного дыханья, и все же Борис на цыпочках прошел к ширме. . . Постель была не раскрыта, подушки не было, без нее кровать показалась Борису уродливой и страшной; ему представилось туловище без головы. . . Крепко вцепившись в холодную спинку кровати, стоял он, впервые осмысливая, что ужасное и оскорбительное не в словах, которые сказал отец, а вот в том, что сейчас происходит за дверью, немой и белой.

«Она спит, спит с ним. . . И это есть то самое, о чем говорил Петька Колосов, что рисуют в уборных, о чем поют беспризорные, как о наслаждении, но непонятном, бессмысленном и стыдном. . .» Сейчас оно вдруг вломилось в его жизнь и разрушало то, с детства сложившееся, чистое представление о слитности отца и матери, на котором, казалось бы, держался мир. И он чувствовал стыд и гнев за отца, и омерзение к Любе,

и горькую обиду и жалость за мать, словно бы она была живая и беззащитная. В гортани горчило, и он торопливо раздевался, ему стыдно было заплакать при свете. Но только совершилась мгновенная перемена, которая наступает в комнате, когда потухает электричество и воздух из золотисто-прозрачного вдруг делается синим и жидким, так сразу хлынули долго сдерживаемые слезы.

— Мама, мама. . . — шептал он — Что же мне так плохо? Мама, мама. . .

Но рядом, за высокой сеткой детской кровати заворочался Валька, и Борис замер...

— Боря? — спросил Валька сонно. — Боря! . . . — позвал он еще раз.

Борис молчал, затаив дыханье. И потому, что не слышно было дыханья, Валька понял, что он не спит.

— Ведь ты плакал, Боря, да? — и, вспомнив внешне-смешное, неумеренное какое-то движение, с которым Борис выбежал из комнаты, Валька слез с кровати, и вот Борис ощутил на своем плече его маленькую, со сна влажно-горячую, нащупывающую руку.

— Ну, что тебе? — спросил Борис, отчужденно и сухо. Он смутно припоминал, что, когда отец говорил эти неправильные, стыдные слова, Валька был около Любы.

— Боря! Ты не плачь. . . — дышал Валька в горячее ухо Бориса. — Я как рад, Боря! Ведь у всех детей есть мама, а только у нас нет. И вот Люша сейчас будет наша мама! — сказал он уже почти вслух, счастливо смеясь.

«Люша!» — Так называл Валька то веселое, румя-

ное и молодое, что с его младенчества восходило над его колыбелью вместе с наступающим днем.

Но Борис, подняв голову от своей насыщенной горем, горячей и влажно-солоноватой от слез подушки, сбросил с плеча руку Вальки, сказал со злобным горем:

— Уйди от меня! Ты... ты, предатель мамы, соглашатель! — и, с омерзением оттолкнув брата от себя, он опять заплакал. Валька не удержал равновесия, упал с кровати, ударился головой и тоже заплакал, но не от боли, а от неожиданной и незаслуженной обиды.

15

— Ведь я к нему — как была... а он что?

Люба прерывает свой шопот обидчивым вздохом, она всем телом приникает к Степану Григорьевичу. Он, вздрогнув, пробуждается, чувствует касание ее груди, теплую тяжесть ее согнутой в колене мягкой ноги, которую она положила на него. Тонкий сон, только начавший собираться, сразу рассеивается. А заснуть хочется. Заснуть надо — которую ночь недосыпает Степан Григорьевич. А тут Люба — с тем тревожным, что сегодня было с Борисом и о чем не хочется думать.

— Он мать помнит и любит... — говорит Степан Григорьевич.

Люба промолчала, так особенно молчала она каждый раз, когда Степан Григорьевич говорил о Наташе. Потом Люба опять защекотала теплым шопотом ухо Степана Григорьевича.

— Борис считает, я ему вроде мачехи. А я как ждала их сегодня! Шанежки напекла, зачет сдавать не пошла.

— Шанежки на зачет променяла, а?.. — укоризненно и ласково сказал Степан Григорьич.

— Зачет... — Люба задумалась, и Степан Григорьич ощутил, как она шевелит дыханием волосы на его виске... — Вот мне учиться неохота, Степа!.. — вдруг сказала она.

— Нехорошо, Люба... — сказал Степан Григорьич недовольно, — никуда не годится! Ведь не домашней же хозяйкой тебе... Ведь ты комсомолка!

— А вот неохота... — и по тому, как она повторила эти слова чуть шепеляво и крепче приникла к нему, он понял, что она засыпает. Он говорил еще, но она не слушала. Она чувствовала его рядом с собой и потому была уверена, что он не может не соглашаться с тем, что она сказала и что было главной правдой того маленького и невидимого, но самого важного мира, который возник сразу, как они сошлись. Вне этого мира она никогда бы не сказала этих слов. Она знала: там их нельзя говорить. Но он почему-то откликнулся на них так, точно он был вне этого единственного и бесспорного мира. Это было так неправильно, что она не входила в смысл его ненужных, сухих и холодных слов и засыпала, откликаясь только на его сердитые интонации тем, что все нежнее и неотделимее приникала к нему. И Шорохов замолчал. Опять так же, как много ночей под ряд, перед его глазами был черный переплет оконной рамы. Раньше он никогда не видел эту оконную раму, так как засыпал сразу и крепко, а теперь Люба вся охватила его собой и горячо дышит около шеи. Он сдвинул с себя ее руку и ногу, но все повторилось, как в прошлые ночи: не просыпаясь, она горячо,

долго и влажно поцеловала его в шею и приняла прежнее положение.

— Дуся моя... — сказала она со сна.

Шорохов усмехаясь погладил ее волосы. «Ребяческого в ней много...» — подумал он, оправдывая и это ненужное ему и неправильное какое-то любовное слово и невнимание к тому, что он ей говорил. И он подумал о том, что эта женщина, груди которой касаются его плеча, и есть Люба — маленькая рыженькая Люба, это она — рядом с ним, это она — принадлежит ему. «Я счастлив, счастлив...» сказал он себе. «А остальное — оно как-то образуется, — и Борис и ее неправильные слова о зачете и то, что работать я стал хуже, зевать на заседаниях, ссылаться на переутомление...»

Рыдающее, точно прорвавшееся откуда-то восклицание, потом стук и тоненький плач — все это прервало уже начавший складываться сон. Все это шло из соседней комнаты — плакал Валька. И Степан Григорыч сразу приподнялся.

— Что ты... что ты... — сонно спросила Люба, не размыкая рук вокруг его шеи и приподнимаясь вместе с ним.

— Ребята плачут... — сказал Шорохов. — Слышишь?

Он сказал о двух, хотя слышал только голос Вальки.

— Да... что это? — Люба села на постели. — Пойдем, — сказала она, чувствуя, как дрожь проникает в ее согревшееся тело.

Как только Степан Григорыч повернул штепсель и Борис сквозь слезы и режущий глаза свет увидел Степана Григорыча в нижнем белье и Любу с распу-

щенными волосами, в помятой рубашке, с голыми плечами, руками и ногами, он почувствовал такой припадок гнева, горя и жалости к себе, что не смог справиться с собой, и рыдание опять потрясло его.

— Мама! мамочка!.. — прерывисто вздыхал он и кусал и мял подушку худенькими руками.

И за ним опять тонко заплакал Валька, положив голову на сетку своей кровати и схватившись за нее пухлыми пальцами.

— Вот ведь, а? — сказал Степан Григорьич, чувствуя щекотку в горле и растерянню разводя руками. Он не знал, что делать, он повернулся к Любе, и как только она увидела печальное и растерянное его лицо, сразу же ее еще не развеявшийся сон перешел в лихорадочно-восторженное вдохновение. Она знала — надо делать извечное, женское, что она недавно с гордостью в себе почувствовала, и, схватив Вальку с пола, она положила его в кровать, прикрыла его одеялом, поцеловала и кинулась к Борису.

— Борюшка! Боря! ну, что ты. . . — Она пригнулась к нему, она обнимала и гладила его, а он глубже зарывался от нее в подушки. . . — Борюшка!.. сыночек мой родной, — нежно сказала она, гордая тем, что имеет право на эти слова.

Вдруг он резко оттолкнул ее и на коленях встал на кровати. Смуглое его лицо было сейчас землисто-серым, нос покраснел и распух, уши багровели.

— Уйди, уйди. . . — шептал он, давясь от обиды и ненависти. — Ты. . . ты. . . — он искал такое слово, которое выразило бы всю меру его негодования и омерзения к этому бесстыдно цветущему существу, нарушившему от века положенный чистый строй семьи. —

Ты... ты... — и он вдруг с радостью вспомнил то рычащее слово, которым ее в этой же комнате обругал тот чужой, большой и трубый человек. — Ты — сука! Сука! — сказал он, повторяя те же рычащие интонации, безобразный и почти страшный в своем гневе.

И это ругательство, тогда не оскорбившее, сейчас обвило Любу, как ременной кнут, она почувствовала себя доступной смыслу этого грязного слова и растерянно взглянула на Степана Григорьича, ей вдруг показалось, что это слово ставит его против нее.

Эта боль и приниженная обида на лице у Любы почти утешили Бориса. Он продолжал плакать и визжать, но это было почти притворство, он уже играл то, что полминуты назад действительно испытывал.

— С-сука. . . с-сука. . . — повторял он с прежними интонациями, и Люба, казалось, видела, как это страшное слово расшатывает и расшатывает ее только создавшийся самый важный мир, и вдруг гнев против этого маленького и страшного уродца потряс ее, ветром прошел по лицу — у нее оттянулись вниз углы рта, морщинки легли между бровями. . .

— Люба! — крикнул Степан Григорьич, но он не успел перехватить ее руку, как со всего размаха, плашмя она ударила Бориса по щеке, и звук этот звонко выделился среди плача и возгласов и сразу все их прекратил.

Борис молча откинулся на подушку, Степан Григорьич оттолкнул Любу от его кровати, и она сразу зарыдала в голос, а за ней испуганно и жалко, с надрывом заплакал Валька.

— Ну, это уж никуда! . . . Разве так можно, ребята, а? Боря. . . Боря. . . — несвязно говорил Степан Гри-

горьич, поражаясь тому странному выражению иступленной серьезности, с которой, держась за щеку, смотрел на него этот разом отделившийся мальчик. Борис не плакал, он только прерывисто вздыхал, как вздыхают после плача. Щека его горела и ныла — изнутри она была поранена зубами, и он глотал солоноватую слюну. Горе его разом иссякло, точно Люба сильной, тяжелой и жгучей ладонью разбила тот сосуд, в котором это горе собиралось, и оно разом просочилось и ушло. . . Да, его ударил в первый раз взрослый, а другой взрослый — самый любимый и главный из взрослых — он сидит здесь в нижнем белье, и на лице его смущенье и виноватость. И эта, ставшая чужой и враждебной, женщина, ударившая его, плачет, и тоненько и жалобно вместе с ней плачет брат, — а кругом своя комната, ужасно равнодушные, хотя знакомые, цветочки на обоях, недопитый стакан молока, крынка на столе с обычным выражением красновато-глиняных морщинок. . . Перед Борисом впервые открылся широкий суровый взрослый мир, мир равнодушных вещей, мир людей, безжалостных друг к другу, алчных и глупых. И в этом мире навсегда и непоправимо вдруг не стало матери, и, потому что исчезла она, незримая и все же занимающая большую часть мира, мир открылся перед Борисом широким, привольным и манящим, хотя и враждебным, чужим. И он вспомнил девочку, сегодня просившую его дружбы, и он не знал, зачем это нужно ему вспомнить, но ему сразу стало легче — за девочкой что-то вставало другое, какая-то новая, еще непонятная опора. . . «Завтра в отряд. . .» подумал Борис.

— Иди, папа, спать. . . — сказал он со спокой-

ствием, удивившим и испугавшим отца. — И дай мне воды напиться.

Шорохов торопливо налил стакан и дал его Борису.

— И пусть она уйдет отсюда... — сказал Борис, взяв стакан пальцами влажными, покрасневшими у суставов, словно бы они тоже плакали.

— Иди, Любаша, не бери его. Иди ложись... — сказал Степан Григорьич, трогая ее теплые плечи. — Ну!..

И, повинувшись его ласке, она встала и, всхлиывая, ушла. Тогда Степан Григорьич поцеловал Вальку. Он ничего не говорил ему, но тоже напоил его водой. Потом сидел возле него, глядя его спутавшиеся теплые волосы. Чувствуя твердую и теплую руку отца, Валька засыпал, иногда вздыхая глубоко и прерывисто.

С ужасом и недоумением думал Степан Григорьич о том, что мгновенно, ураганом промчалось в этой комнате. И он с новой взволнованной боязнью вспомнил Наташу. Раньше, чтоб вызвать в себе теплую и приятную грусть, он часто говорил о ней детям. Но оказалось, что эти его приятные и грустные чувства вошли в Бориса, и, когда Степан Григорьич сам перестал их испытывать, тогда Борис бросил эти же чувства против нового и счастливого с Любой, и Наташа точно вернулась в его жизнь и все в ней нарушила.

«Что ж Эйдкунен?» вдруг спросил Степан Григорьич внутреннего своего Эйдкунена. «Вот он мне разрешил с Любой, и по его так все гладко получалось. А вот оно как сложно и неблагополучно... Хотя что я?» досадливо подумал он, отмахиваясь от ощущения вины за все это незакономерное и стихийное, что произошло с ним. Степан Григорьич взглянул на Бориса, с головой укрывшегося одеялом. «Спит...» сказал он себе, хотя

по тому, как недвижно и напряженно расположены были складки одеяла, ясно было, что Борис не спит. «И надо Любе сказать, чтоб сдерживалась...» Но, когда он вошел в свою комнату и услышал тихие и жалостливые всхлипы, разом ее вина вдруг превратилась и в его вину. И он пожалел ее и сделал так, как это свойственно было веселой и добродушно-насмешливой натуре его, — он постарался ее развеселить.

— Что же это — полная квартира реву, а я всех утешай? Днем — работа, домой придешь отдохнуть, выспаться — ночью слезы. Нет, так нельзя. Как это в английской рабочей песне: восемь часов на работу, восемь на отдых, и остальные на сон — да!

Почувствовав, что случившееся не разрушило ее новый теплый мир, она радостно успокаивалась. Охватив его шею сильными, горячими и мягкими руками, прильнув к нему и приняв обычное положение, она уже засыпала, глубоко и прерывисто вздыхая, как дети после сильного плача.

А перед усталыми глазами Степана Григорьича неожиданно выделилось смутное очертание стола и стульев, смутное белое пятно превратилось в одежду, повешенную на спинку кровати. Наступил прозрачный рассвет. Сна оставалось не больше трех часов. И Степан Григорьич продолжает насмешливо подтрунивать над собой, но уже про себя: «Ну, что за Степан! Ну и Степан! — выговаривает он. — Ведь даром, что седой, а молодая полюбила. А что-то он не совсем чтоб рад... Нет, не совсем».

Шорохова пробудил тихий, но настойчивый стук. Он открыл глаза. На полу дрожали солнечные зайчики,

окно голубело, но свет резал глаза; в висок постреливало, он опять не выпался.

— Это я, папа!.. — внятно сказал Борис из-за двери. — Я сейчас еду в лагерь. Мне необходимо звонить по телефону.

«Необходимо», про себя повторил Степан Григорьич, точно вслушиваясь, как в этом рассудительном слове звучит то, что было ночью.

— Войдя. . . — сказал он, прикрывая одеялом голые плечи Любы.

Борис, опутив глаза, прошел к письменному столу и стал рыться в телефонной книжке. Степан Григорьич видел длинную и тоненькую шею, с выступившим позвонком и глубокой луночкой над ним, упрямый и высокий затылок, в выражении которого, как и в тщательной, почти щеголеватой пригонке обычного пионерского костюма, было то же, что в этом рассудительном слове «необходимо». Это была новая какая-то линия, волновавшая Степана Григорьича и смутно о чем-то ему напоминавшая.

— Это квартира Файнерман? — спросил Борис, пригнувшись к трубке. — Берта? — Он запнулся, сказав это имя. — Слушай, Берта! это Шорохов говорит.

«Шорохов. . .» подумал Степан Григорьич. «Ведь это ж он — тоже Шорохов. Несколько лет — и он уже совсем взрослый. . . И у него свои дела». Но Степан Григорьич не задержался на этой мысли, вслушиваясь в то, что говорил Борис. . .

— Я сейчас уезжаю в лагерь. Но, когда приеду, я тебе позвоню. И мы поговорим. И ты на меня. . . — Степан Григорьич видел, как вспыхнули уши Бориса. — Ну да, мы поговорим обо всем.

Борис положил трубку, вздохнул и тыльной стороной ладони провел по виску и щеке, и Шорохов чуть не вскрикнул от болезненно-счастливого чувства; это был в точности повторенный освобождающийся жест Наташи, когда она выходила из затруднительного положения. И это движение сразу раскрыло в Борисе всю его ранее спрятанную и сейчас проступившую линию: и обуздывающая себя сдержанность и подтянутая тщательность в одежде это было Наташино; когда Наташе бывало худо, она всегда, точно наперекор, делалась такой. Раньше Степан Григорьевич считал, что Борис походит на него, но вот в нем проступили черты матери, и Наташа — уже, казалось бы, исчезнувшая, опять жила перед ним.

— Я уезжаю в лагерь... — спокойно сказал Борис заранее обдуманную фразу. — До свидания!

Взглянув в сторону отца и встретив какой-то особенный, ласковый и непонятно изумленный, точно узнающий взгляд, он поразился ему. «Это мне не надо», тут же отгородился он от отца, за то, что тот изменил матери, не подозревая, что этим он опять воплощает перед отцом черты матери и возвращает чувство отца к ней.

В соседней комнате его дожидался Петька Колосов, сын старого товарища Степана Григорьевича. Петька сидел на подоконнике, свесив босые загорелые, покусанные комарами, побитые и расцарапанные ноги, и держал в руках гитару. Он осторожно трогал ее струны, склонив к ним ухо, полузакрыв глаза и наморщив свой короткий веснучатый нос.

— Расстроена... — Он опять тронул струны. — Ой, ой! Совсем расстроена, — говорил он, покачивая круг-

дой и рыжей своей головой и поблескивая золотисто-желтыми глазами.

— Идем, а то на поезд опоздаем... — сказал Борис, тщательно завязывая галстук перед зеркалом.

— Идем... — и Петя, с сожалением отложил в сторону гитару.

Хотя в лагерях у него оставались своя гитара и балалайка, но для него в каждом музыкальном инструменте было что-то такое же неповторяющееся и интересное, как в новом человеке.

Но, едва они вышли на улицу, Петя сразу забыл о гитаре. Крутом трепетало веселое майское утро, и трепет этот был такой же беспорядочный и крикливый, как он сам, и он шел вразвалку, не по возрасту большой и головастый, но еще не утративший детской припухлости тела. Но рядом он ощущал застегнутого на все пуговицы, подтянутого Бориса, идущего вразрез всему этому веселому и беспорядочному трепету. И Петя подумал о том, что Валька посмотрел на него как-то испуганно, жалостно и прятался под одеяло и Любы не было видно и Борис стучал, перед тем как войти к отцу, и как-то особенно сегодня разговаривал.

— У вас дома случилось что? — спросил Петя.
«Вот оно...» подумал Борис, весь напрягаясь.

— Ничего особенного, — сказал он ровно. — Отец женится на Любе нашей.

Петька длинно свистнул. «Сейчас он скажет что-нибудь похабное, или покажет еще пальцами...» думал Борис. «Но я... я должен сдержаться... Я должен даже засмеяться». Однако Петька промолчал и сказал как бы одобряя: — Что ж, дело хорошее! А вот мой папашка завел порядок... с машинисткой...

понял? Вот старый кобель! А мама... — Петька махнул рукой. — С другой стороны, верно — устарела уже мамаша... Но дома у нас такая дискуссия!.. Я уже и не хожу... да ну их!.. — и Петька засвистел залихватисто и узорно.

Но, пристально взглянув на него, Борис заметил за веселой пеленой, покрывавшей его глаза, какое-то унылое и знающее напряжение, — это было то же, что раньше он видел в глазах Берты и чего не понимал.

ГЛАВА ПЯТАЯ

17

Жена Соловьева чопорно, издалека и туманно начала, видимо, заранее приготовленную речь, но вот носик ее покраснел сквозь пудру, слезами блеснули ее черные глаза.

— Спасибо, что вы его из партии не сократили, он не перенес бы. . . Вы уже лучше меня как-нибудь исключите. — Голос ее дрогнул, и на ее вопрошающий жалобный взгляд Шорохов ответил ободряющей улыбкой. Эта улыбка была неожиданна для него самого, и он смущенно оглянулся — но в служебном его кабинете больше никого не было. А она, ухватившись за эту улыбку, быстро заговорила, сглатывая «ер» и «ел».

— Ведь это же я виновата, пустая, дрянная. А он прямо рыцарь какой-то, только коммунистический. Или я глупости говорю. . . — перебила она себя. — Но он с самого начала сказал, что даст мне полную свободу, — и правда, я уйду куда, так он даже не спросит, где я была. Ни разу. А мне — мне не верилось, — она сильно покраснела, — ну и я нарочно, чтобы испытать. . .

Знаете, у них на курсах все молодые, красивые такие товарищи — я преподаю французский, они — веселые такие, после урока идем, смеемся, и совсем нечаянно, так посмотришь, — покраснелась она. . . — Но ничего серьезного, ничего, однако, смотрю, как мой Миша, и представьте — ни слова, — заметил, не мог не заметить, а молчит, совершенно-совершенно молчит. А меня это разжигает, и я больше и больше и все с одним, очень такой красивый — но опять-таки ничего серьезного. . . ничего. Вы, наверное, осуждаете меня. . . — вставила она, мельком и искоса посмотрев на него. . . — Но я все скажу. . .

«А ведь ее, пожалуй, верно, надо осуждать», спохватился Шорохов. Эта женщина с губами, тронутыми краской, и белыми холеными руками была явно чужда и к тому же не умна, — и все же она вызывала какое-то странное сочувствие. И он свободно следовал тончайшим оттенкам ее вздохов и интонаций, бережливой нежности ее глупых слов и внимательно слушал ее. . .

— И в тот день после парада я все время была с этим курсантом. И под руку с ним ходила, и как увижу, что Миша смотрит на меня, тогда крепче возьму под руку, ну. . . и вдруг вижу — Миша такой бледный стал, и щеки затвердели, и вынимает наган. . . И я сразу испугалась, и так жить хочется. . . но не убежала, потому что подумала — какая я мерзкая, так мне и надо. И все загрохотало, и я думала, что умерла, но я лишилась чувств.

Она замолчала и неслышно заплакала в платок. А Шорохов представил себе руки Соловьева, расставляющие письменные принадлежности, настойчивое иска-

ние какого-то стройного и симметричного порядка, и Люба — ее грозное и гневное лицо с наморщенным носом и оттянутыми вниз углами губ, и звонкий шлепок Любиного удара — порочная и неожиданная сила, раз-
метывающая симметричную стройность придуманного мира.

В комнату вошел Эйдкунен и разом включился во все это беспокойное и неправильное. . . Увидев Эйдкунена, Соловьева сразу заторопилась и ушла, — она, видимо, боялась его.

— Ну видал, что за птичка? — спросил Эйдкунен, посмеиваясь, и мигнул в сторону затворившейся двери. — Нарочно расстравляла партийца. Эх, разводить надо нас с такими. — И в шутливости его восклицания Шорохов услышал серьезную и бессильную растерянность. «Это он лично как-то заинтересован, чтоб оправдать Соловьева», подумал Шорохов и тут же эту мысль перенес на себя, ведь это же он утвердил заключение Эйдкунена, где Соловьеву предлагалось только сделать выговор. «Но ведь на фоне явной уголовщины, за которую сейчас исключаем, ведь это же пустяк», беспокойно думал Степан Григорьич.

— Да, ее показание все в корне изменило, — сказал Эйдкунен. «Ничего не изменило» вдруг ясно подумал Степан Григорьич, прерывая этим все свои предыдущие рассуждения, правильные вообще, но прикрывающие какую-то тонкую неправильность в деле Соловьева, ту самую, невыразимую словами, темную и опасную порочность, перед которой Шорохов чувствовал себя странно и недопустимо бессильным.

«Но откуда все это? От того, что я сошелся с Лю-

бой? Но ведь меня же никто не осуждает», думал он о своих соседях по коридору. «Ну, может, и посмеется кто — вот, де, связался чорт с младенцем. Но ведь никто не осуждает. А Эйдкунен?» и тут же, не додумав до конца, Степан Григорьевич сказал громко.

— А я, Иван Александрович, на молодой женился. На Любе нашей. . . — добавил он, сделав маленькую паузу.

— Хорошее дело. . . рассеянно одобрил Эйдкунен, и Степан Григорьевич с облегчением и досадой воспринял тон его ответа. «Ну и вот, конечно, он меня не осуждает, также как Соловьева», — вдруг добавил он, и сразу же поднялось в нем общее какое-то недоверие к Эйдкунену. «Что он тут делает без меня?» подумал Степан Григорьевич тревожно.

Со времени возвращения из дома отдыха Шорохов никак не мог вернуться к работе. По внешности все было как всегда — утром он шел в учреждение и проводил там целый день, вечером делал доклады или заседал. Но он был все время в усталом раздражении длительно недосыпающего человека, и не старался вникнуть в самую горячую суть работы, и Эйдкунен был предоставлен сам себе, — он послушно делал то, что было сказано накануне отъезда Шорохова в дом отдыха.

А сказано было столько, что хватило бы исполнителю Эйдкунену на полгода работы. И все же Шорохов тревожился — время от времени из неугомонной жизни приходит новое, и если этого нового не уловить и по-другому не перестроить всего плана работы, отбросив кое-что из намеченного и заменив его новым, то работа зайдет в тупик. . .

— Слушай, Иван Александрович, давай доложи-ка

мне все дела за последние две недели... а то я... запустил, признаться... — добавил он, незаметно для Эйдкунена смущаясь.

— По-моему все идет прекрасно... — сказал Эйдкунен. Он не только не заметил, что Степан Григорьич небрежничал с делами, но ему казалось, что именно последнее время они шли особенно стройно, так как он беспрепятственно вносил в них свой систематизирующий и классифицирующий порядок. И он тут же обстоятельно доложил о работе, систематически переходя от главных вопросов ко второстепенным. Все шло хорошо, все рычали, двигались, и Степан Григорьич ласково и с уважением поглядывал на Эйдкунена.

— Хорошо, очень хорошо... — говорил он. «Вот отчетливый, деловой парень, мне далеко по этой части до него...» думал он, и возвращение его доверия к Эйдкунену было также и возвращением доверия к себе. Эйдкунен перешел к переписке.

— Имеем также письмо от Горлина — ничего особенного... есть, впрочем, упоминание о том, что там опять какая-то склока, на национальной почве... И Селима какого-то исключили из партии... и потом...

— Кого исключили из партии? — тихо и тревожно переспросил Шорохов, почти переставший слушать: — Селима?

Эйдкунен, щеголяя аккуратностью, вытащил одну из папок, достал письмо Горлина и вручил Степану Григорьичу...

«Есть там еще одна путаная голова — некто Селим (Степан Григорьич его знает), теоретически совершенно невыдержанный человек, лезет в споры по фило-

софским вопросам, горюет идеалистическую ересь. Будучи наркомпросом, он очень мешал мне ставить партпросвещение. Мне эта волянка надоела, мы его сняли с поста наркомпроса и исключили из партии и комсомола».

— Как из партии и комсомола? — отчаянно крикнул Степан Григорьич, точно Горлин сидел тут же у стола и продолжал разговор накануне отъезда... «Ну в остальном отношении все хорошо, но вовлечение националов в партию идет медленно...» читал он спокойные бисерные буквы горлинского письма.

— Да, если они Селима исключили из партии, какое же может быть вовлечение? — печалась сказал Степан Григорьич, вспоминая оливково-смуглого стройного бритоголового Селима с непонятным, но хорошим выражением глаз, — того, кто первый поднял голос против баев и мулл, затесавшихся в партию, пастуха-партизана, как огонь сухой хворост, поглощавшего газеты и книги.

— Немедленно телеграмму об отмене исключения. И обоих вызвать в Москву — и Селима и Горлина. Ах, Иван Александрович... — с укоризной сказал Степан Григорьич, словно во всем этом виноват был Эйдкунен...

— А вдруг Горлин прав? — спросил Эйдкунен, но уже обмакнул перо в чернила. — Так как текст? — спросил он послушно.

— По этому пункту Горлин не может быть прав, — уверенно сказал Степан Григорьич. Он вспомнил Горлина, его молодую вдохновенную нетерпимость по вопросам теории, которая так восхищала его, и тут же представил мерцание белых куполов на черно-синем

небе и особенную приниженную и отчужденную нищету окраинных переулков, где по неровным обшарканным тысячею ног камням течет вонючая вода из смрадных домишек, и недоверчивые взгляды людей нищенствующих тысячелетия. . .

— Идеалистическая ересь, — пробормотал он раздраженно, ероша волосы и зевая. «И что ж он там делает?» подумал Степан Григорьич, припоминая, что Эйджунену понравился Горлин, и незаметно сливая их во что-то одно, скудное и неправильное, ощущающееся где-то глубоко внутри. . . «Что это за человек такой?» спросил себя Степан Григорьич, пристально и подозрительно вглядываясь в миловидное и прилежное лицо Эйджунена. «Вот я без него обойтись не могу — он все мне в порядок приводит, и это хорошо, — но вот нельзя, чтоб он внутри был, все он путает во мне. . . Да и в работе его самого тоже нельзя оставить, он начнет вредить и путать, как вот, сейчас в Туркестане», враждебно подумал Степан Григорьич, совершенно сливая Эйджунена и Горлина вместе. «И надо сейчас же все это исправить, что он напортил. Поехать туда. . .» но вдруг словно бы кто-то тихо и лукаво закрыл ему рот — он разом подумал о Любе. Он не хотел опять быть без нее. Взять ее с собой? Но это нельзя было. «Дом, дети. . .» подумал он неясно. «Да и у меня дела так запущены — он без меня не справится», подумал Степан Григорьич об Эйджунене, и эта мысль опять же была не его, шороховская, а какая-то эйджуненская, и опять Степан Григорьич с раздражением и опаской ощутил в себе прозрачного, как тень, Эйджунена, непрестанно и безмолвно присутствующего во внутреннем мире. Во всем этом очень важно было разобраться.

но у Степана Григорьича круги шли перед глазами от головной боли, и в этом как-то был виноват Эйдкунен, и эта его вина касалась и неправильностей в деле Соловьева, и Степан Григорьич неожиданно враждебно сказал:

— Тебе, верно, Иван Александрович, кажется, что ты в таких вот делах, вроде как с Соловьевым, очень разбираешься. Но ты в них как слепой. И ты их не бери и занимайся только Туркестаном. И каждый раз ставь меня обо всем, о каждой мелочи в известность.

Эйдкунен обиженно и изумленно пробормотал что-то, но Шорохов сразу как-то успокоился — это была несомненная победа над Эйдкуненом, хотя смысла ее он сам еще до конца не понимал. Но он знал, что в отношении Эйдкунена это давно надо было сделать.

18

Степан Григорьич вошел в комнату. Борис сидел в кресле у окна — сдержанный и подобранный спокойный-угрюмый мальчик. Но у Степана Григорьича было впечатление, что Борис в момент, когда услышал скрип двери, мгновенно весь повернулся и спрятал позу напряженного и страстного наблюдения того, что происходило за окном на площади. — Приехал? — бессодержательно спросил Степан Григорьич, подошел к окну и через голову Бориса взглянул на площадь: бело-серые облака шли над городом, взвевая пыльные вихри, мальчишка-папиросник бежал наперерез через пыль, озорно размахивая длинными рукавами.

«На что это он смотрел так?» недоуменно встревожился Степан Григорьич. Со времени ночного столкновения Любы с Борисом Степан Григорьич, как только

видел Бориса, всегда настораживался: Борис словно прятал что-то новое и свое.

И в обычном за последнее время болезненном настроении длительно недосыпающего человека Степан Григорыч хмурясь развернул газету и тут же почувствовал, что не сможет ее прочесть до конца. Борис с осуждением и жалостью увидел и мелкие морщины у рта, и седеющую щетину на его одряблевших щеках, и красноту носа. В этом лице словно погасло то, что делало незаметными эти изъяны. Борис остановил себя, почувствовал ту грань в отношении к отцу, которую он наметил не переходить.

— У меня к тебе дело... — сказал он спокойно и замкнуто.

— А? — спросил Шорохов, отодвигая газету и откликаясь на эти неожиданные слова. — О чем ты?

— У меня к тебе серьезное дело.

— Серьезное? — Шорохов усмехнулся. «А вдруг он обо всем этом... с Любой», смущенно подумал он и тут же почувствовал, что смущение повернуло усмешку, направленную на Бориса, против него самого.

— Прошу ко мне в кабинет... — И, войдя к себе, он с ласковой шутливостью указал сыну на стул и сам сел в кресло: — Пожалуйста, товарищ. — Но с дивана не была еще прибрана постель на две подушки. — Прошу... — добавил Шорохов, опять спадая на смущенный смех. Эта измятая постель с простыней, свисающей до пола, вызвала у него вдруг ощущение тоскливого пресыщения и неожиданной досады на Любу. «Не могла прибрать», в такие слова вылилось это его чувство.

Борис, видимо, волновался. Он взял спичечную коробку и стал мерно ее поворачивать, задерживая пальцы на гранях.

«И что это все вмешиваются в мое: утром — Эйткунен, сейчас — Борис», беспокойно и злобно подумал Степан Григорьич, забывая, что Эйткунен ни во что не вмешивался. «И нет им до меня никакого дела. Мальчишка, а тоже. Вот прикрикну на него».

— Получается, папа, вроде протекционизм... — вздыхая и откашливаясь, начал Борис. — Я хотел сам сделать, но у меня ничего не вышло. Видишь ли, есть одна женщина, сумасшедшая, — она библиотечарша и беспартийная. Но с ней живет дочь, она в нашем отряде. И девочке плохо, мать ее бьет, ну какая жизнь с сумасшедшей. И девочка даже в лагеря не может поехать, не на кого мать оставить. И вот я тебя прошу, — покраснев сквозь смуглоту, сказал Борис, — Устрой ее как-нибудь в лечебницу.

— Ну? — спросил недоуменно Степан Григорьич, ожидая, что разговор перейдет на Любу.

— Ведь не хорошо же, девочка живет с сумасшедшей... — пробормотал Борис, еще более смущаясь. «Вот сейчас скажет, что это за протекция», думал он, «и поделом мне».

— Ну, Борис Степанович, — облегченно вздохнув и разом веселея, сказал Шорохов. — Все это мы враз. Так как ее зовут эту девочку? — опросил он, деловито доставая блок-нот.

— Это не про девочку, а про ее мать, — вот — Эсфирь Абрамовна Файнерман, — прочел Борис с бумажки. Он радовался, но под радостью уже был тот новый взгляд, который открывал в отце плохое. «Ведь это

же протекционизм, а как он легко согласился. . .» осуждая думал Борис, «ну зато Берта поедет в лагерь. . .»

— В чем у них там дело? — спросил Степан Григорьич.

— Видишь ли, папа этой девочки убил второго мужа ее мамы, а мама сошла с ума, а потом ее выпустили. Ну а Берта, ей как, а? Ведь это все при ней. Ведь нельзя же так с детьми, — сказал Борис горячо, почти исступленно, и Степан Григорьич сразу почувствовал, что в этом выкрике как раз и скрыт тот узелок, которым эта, казалось бы, совсем посторонняя история связана с тем, что произошло в их семье.

— На! — сказал Шорохов, смущенно и устало взглянув на Бориса. — Это в лечебную комиссию. Тебе все сделают.

— Спасибо. — Борис встал, расстегнул кармашек на груди, вложил туда письмо и опять застегнул. После этого он мгновенно осмотрел себя всего, круто повернулся и пошел к двери, худенький, стройный, в травянисто-зеленом костюме, оставляющем голыми его сильные, смуглые и худенькие ноги.

Борис не знал, что свою взрослость и независимость в отношении отца он все время подчеркивает, бессознательно принимая тот твердый и холодный облик, который его мать принимала при столкновении с враждебной силой, полицией или политическими противниками. Эти черты были дороги Степану Григорьичу, но раньше они никогда не оборачивались против него самого, и сейчас, когда они были против него, он разом затосковал о другом облике Наташи, сокро-

венном и доступном только ему. Вот она усталая и ласковая, с первыми чистыми и строгими морщинами, очертившими лицо, тихо входит в комнату — на ней аккуратная блузка с галстуком — и, развязав галстук и улыбаясь, она поматывает головой, чувствуя, как освобождается шея, нежная и белая, пожалуй, слишком тонкая для большой ее головы. . .

«Да, все это было возвышенно, а с Любой как-то не так. . .» подумал он и оглянулся смущенно и испуганно, точно Наташа была рядом и могла услышать его мысль о Любе. Но ее не было — только портрет ее, — и он вздохнув отвел от него глаза, он был бледен в сравнении с той Наташей, которая ему представлялась. Он опять попробовал вникнуть в газету, но усталый мозг холодным творогом лежал в голозе, и он до слез зевал, и строчки прыгали перед глазами. «Что-то непонятное и важное происходит с Борисом. . . об этом думать надо. . .» Но эта тревога была преддверьем к тревоге по делу Соловьева, и за всем этим стояла гораздо более широкая и все обнимающая тревога о том неправильном, что делалось в Туркестане, и все это упиралось в Любу и как-то было связано с Эйдкуненом. Жизнь расплзалась из-под его рук, и мысли бессильны были ее связать, а он должен был это сделать. «Сплю я мало,» вдруг по-новому, совсем с другого конца подошел он к неладности своего положения. «Надо все это в сторону, и раньше всего выспаться. Вот возьму и по-настоящему выплюсь». Бесь сосредоточившись на этом простом желании, он быстро разделся и лег под одеяло. Но чего-то еще нехватало для спокойного сна. Он оглянулся, увидел полуоткрытую дверь, ключ, торчащий из замочной скважины, и опять

с пресыщенной и усталой досадой вспомнил Любу, ее ночную и ласковую цепкость — и тут же подменил это ощущение мыслью. «Я часочек-другой, а она придет, разбудит». Он захлопнул дверь, повернул ключ — и в комнате, казалось бы, стало тише, все кругом безмолвно сообщничало с ним в его намерении уснуть — и он разом нырнул в черную теплоту сна.

Люба повернула ручку двери, но дверь не открылась. Люба еще несколько раз рассеянно повернула ручку — и вдруг почувствовала, что все это — и то, что она стоит перед дверью кабинета Степана Григорьича, и то, что дверь не отворяется, — унижительно, и она самолюбиво оглянулась — Борис лежал на своей кровати, — ей показалось, что он смотрит насмешливо. Люба покраснела и с неловкой торопливостью отошла от двери. «Он верно заснул. . . По рассеянности повернул ключ и заснул. . . И не надо его будить, пусть спит. И я тоже лягу спать». Такими словами подавила она смутное ощущение обиды и пошла за ширму. Но подушка ее была в комнате Степана Григорьича, и это опять привело к обидчивой мысли о нем. «Нет, стучаться нельзя, а то он вообразит», опять самолюбиво подумала она. Вынув чистую наволочку и положив в нее свое пальто, она разделась и легла на свою кровать, на которой не спала уже больше месяца. Но ей не хватало теплой успокаивающей близости тела, ровного дыхания рядом, она поворачивалась с боку на бок и не могла заснуть. «Это потому, что подушки нет», сказала она себе. Но ей хотелось плакать. «Он спит там, а я здесь. Нехорошо это, неправильно. . . А все потому,

что я незаконная...» вдруг подумала она и сразу приподняла голову, вникая в это как будто неожиданное слово — обидное, но точное. «Ведь я ж ему жена больше чем Наташа, я забочусь о доме, а вот спим мы в разных комнатах». И Люба гибко села, охватила ноги руками, так что груди коснулись коленей. И, ощутив шелковистость своего тела, она сразу стала спокойней и уверенней в себе. «Больше так не будет. И будет так, как должно быть, мы будем жить в одной комнате, в его комнате. Надо будет ширму перенести туда и за ширмой поставить эту кровать — но не эту, а шире, какие есть на складе Дома. В конторе у того — рябого надо взять...» думала она успокоенно засыпая.

Утром Степана Григорьича разбудила громкая песня Любы. «Как-то она поет не так...» подумал он, вслушиваясь в воинственное «по морям, по волнам»... Позднее солнце жарко светило в окна. Степан Григорьич чувствовал давно неиспытанную веселую бодрость. Он быстро оделся и вышел в общую комнату. На столе был уже чай.

— Здравствуй, Любаша... — весело сказал он. Она посмотрела на него, в ее взгляде он уловил обиду и пытливый вопрос, но она быстро опустила глаза и опять как-будто бы весело запела. И Степан Григорьич стал тихонько подпевать ей. Борис, думая о чем-то своем, быстро пил чай, он опять уезжал в лагерь. И Степан Григорьич тоже торопился и кончил пить чай раньше Бориса и тут же ушел, и Люба на целый день осталась с воспоминанием того, как нехорошо и лукаво он подпевал ее песне и обжигаясь глотал чай, чтоб уйти раньше Бориса — в этом был какой-то несправедливый и тонкий обман, но она не старалась раскрыть

этот обман, он был ей понятен, он даже делал Степана Григорьича ближе. «Больше так не будет», говорила она себе и подбирала слова к заявлению в управление Дома о выдаче кровати и представляла себе перестановку мебели в общей комнате.

Сегодня был зачет. И озабоченная этим серьезным и главным, что происходило между ней и Степаном Григорьичем, она не могла собрать в себе все силы, нужные для этого дела, она не поговорила с теми, кто уже сдал, она потеряла способность держаться с профессором, все ее слабые знания разом обнажились, и она провалилась. И она приняла бы близко к сердцу этот провал, она боялась бы упреков Степана Григорьича, но сейчас этим каким-то тонким и неясным обманом он словно бы давал ей какое-то право не огорчаться из-за провала на зачете. И, возвращаясь после зачета домой, она обдумывала план перестановки мебели в квартире и была уверена в своих, наполненных действием, мыслях. Но, как только она увидела полуоткрытую дверь его кабинета, откуда он не вышел ей навстречу, как это бывало раньше, как только она ощутила особенную, сосредоточенную тишину квартиры, ее уверенность сразу пропала. Преодолевая неожиданную робость, она стала потихоньку открывать дверь в его комнату... Дверь тоненько заскрипела, и она испугавшись застыла — он поднял на нее глаза, затуманенные неизвестными ей мыслями. Ей казалось, он осуждал ее.

— Ты занят, дя Степ? Работай... работай... — и она закрыла дверь. Она не ожидала от себя этого виноватого и даже заискивающего тона, но уже была перед закрытой дверью и почувствовала, как изнутри

в ней поднялась обидная беспомощность. Сейчас провал на зачете представлялся ей несчастьем, унижительно напомнили о нем ее, еще запачканные мелом, руки. Она оглянулась кругом, словно ища союзника, — и каждая мелочь в этой комнате, молчаливо и разом поддержала ее — ведь все это, до цвета обоев, было подобрано и расставлено ею, она создала этот теплый мир, и главное место в нем по праву принадлежало ей. «Он все о Наташке», бессвязно думала она. «Наташка — законная была, я, выходит... так, незаконная...» Ревниво и горько заплавав, она легла на кровать. Она ждала, когда он выйдет из комнаты, она готовила, что ему сказать, но это еще не были слова, это были проникнутые слезами, упрекающие всхлипы — и она неожиданно заснула.

Ее, очевидно, разбудил случайный уличный звук. Трамваев уже не было слышно. Дверь в комнату Степана Григорыча была замкнута, она слышала тихое дыхание Вальки. Ее лицо горело, сердце тяжело падало вниз. У ней было ощущение своей неопрятности. «Я в одежде спала, что ж — я разденусь...» подумала она, как всегда при ночном пробуждении сосредоточиваясь на маленьких мыслях. Начиная снимать платье через голову, она прикоснулась ладонью к щеке и вздрогнула от гадливости, руки были липки и грязны. «Ну что ж, я умоюсь сейчас... и все...» и она в чулках побежала к умывальнику. «Умоюсь и к нему и сразу станет хорошо...» слепо и сонно отстраняла она все нехорошее, что было днем и что казалось сейчас случайным. Она начисто вымыла руки, шею и грудь, сонливость прошла, но осталось ночное яркое возбуждение. И, немо радуясь тому что будет и что уже

стало ей привычно, она тихонько нажала ручку двери.

И дверь опять не поддавалась. Это ощущение было такое же, как и вчера, но сейчас ничем дневным не заслоненное, оно отравой прошло по крови, и радость ее разом свернулась, как кровь умирающего человека, и, почувствовав озноб, она вернулась на свою измятую и холодную постель. Как всегда в минуты сильного волнения она мерно и бережливо стала расчесывать волосы. Она не плакала — случившееся унижительное и громадное несчастье словно выгло злесты. Ласковую страсть этого человека она ощущала в своей крови — и не могла заставить себя осознать очевидность того, что он запирается от нее, и мысленно опять и опять поворачивала ручку двери, повторяя с недоумением и ужасом ощущение неподдающейся, неотворяющейся двери.

А окно светлело и наливалось голубизной, знакомые предметы — шкаф, комод, детские постели — опять выступали из ночной темноты... Ее семейный мирок напоминал о себе и безмолвно и не колеблясь поддерживал ее, и она готова была бороться за свое законное главное место среди этого всего неотделимого от нее. Уверенная в справедливости своей борьбы, она сводила брови и стискивала зубы. «Он не может со мной так поступать, это — разврат так делать, он — старый партиец, я самое дорогое ему отдала. . .» думала она о своем девичестве и — совсем неясно и вдруг — о Володе, — словно бы Степан Григорьевич обманул ее и не дал того, что мог бы дать Володя.

С вечера Шорохов, сам не сознавая себе в этом, отстранил от себя мысль о Любе и все же безмолвно,

хитря сам с собой, тихонько повернул ключ в двери. Но за ночь, за время спокойного сна, что-то окрепло в нем, и он этим окрепшим осветил весь изменившийся облик своей жизни. Он ясно чувствовал, над ним тяготел Эйдкунен, и это было недопустимо, потому что Эйдкунена Степан Григорыч ощущал как нечто менее совершенное, чем себя, — надо было от него освободиться, а для этого надо было найти причину его новой, непонятной и унижительной власти. Причина была в одной основной неправильности — все нити вели к ней, как к узлу, где запутывались, — это была Люба. Но когда он начинал разглядывать этот узел, чтоб его распутать, он вдруг видел, что никакого узла нет, их с Любой соединял обыкновенный брак, правда, несколько неравный по возрасту, но она ж любила его, а он и сейчас вот ощущал по ней безмолвную и жадную тоску.

«Нет, я с ней хочу жить и буду жить», внятно подумал он, «только вот — не надо бы спать вместе, и потом эти ее слова любовные. . . То-есть — это значит, она неразвита вообще, да и вообще — нет одухотворенности в наших отношениях», поторопился он закрыть первую мысль о том, что не надо бы спать вместе, быстрыми и легкими мыслями. «Да с Наташей не так-то было» — и эта по-новому приятная мысль о Наташе так обрадовала его, что он не вслушался в ее уже несомненно Эйдкуненские интонации. «Да, да, надо так, как с Наташей. Но как? Читать вместе? Беседовать на политические темы? Или взять ее на работу и вместе работать?» Как только от общих раздумий он перешел к действиям, гладкость мысли сразу уничтожилась, он не знал, что делать. . . «Наташа»,

с тоской, как о чем-то идеальном подумал он и точно услышал какие-то отрывочные слова, интонации, легкий смех, — и вдруг вспомнил, что все это он может сейчас восстановить, что нижний ящик его стола наполнен ее письмами. Он быстро встал, оделся и вывалил на стол всю грудку писем. Но в дверь сухо и резко постучали, вошла Люба, и, увидев осунувшееся ее лицо, отметив потемневшие губы, сухой блеск глаз, мелкую дрожь пальцев, Степан Григорьевич сразу, перед полыханьем ее живого горя, забыл обо всей этой грудке исписанной бумаги. И он уже радовался ей, немо и жадно следя за всеми ее движениями.

— Слушай, Степан, — сказала она разом и стремительно. — Ты запираешься от меня? Как я должна это понимать?

Он не знал, что ответить. Сам с собой он неясно предполагал, что запирает дверь по рассеянной привычке — они с Любой всегда запирались на ночь. Но сейчас этот ответ ему показался лживым. И именно потому, что смутился, он сказал с несвойственной ему и неожиданной для самого себя резкостью:

— Нам надо всерьез поговорить о наших отношениях, Люба.

— Всерьез? — Люба, не вдумываясь в буквальный смысл этого сухого слова, повторила его, словно пробуя его губами. «Я не нужна ему», так перевела она для себя это слово, и разом пропала ее стремительность. — Всерьез. . . — сказала она растерянно и жалко. — Что ж это такое? — и, опустив плечи, она села на диван и уронила голову на руку. — Значит ты, правда, хочешь со мной развязаться. . . — и она ужаснулась, впервые услышав от себя эти слова, словно их

громко произнес кто-то другой. — Что же ты со мной сделал?

Услышав ее тихий и жалобный всхлип, он весь судорожно двинулся к ней. Сказанное им, чрезмерно-суровое и не выражавшее его чувства, сейчас лишало его возможности продолжать свою речь. — Что ты? Что ты, Любаша. . . — пробормотал он, чувствуя, как нарастает в нем виноватая связанность с ней. И, откликаясь на каждое ее движение, словно бы в том, как, ослепленная слезами, она жалко сморкается и поправляет волосы и как при глубоких вздохах шевелится ее небрежно накинутое платье, во всем этом была часть его самого, он неловко гладил ее плечи. — Не надо, Любаша. . . не надо, милая моя девочка. . . — Он гладил ее, потому что жалел и чувствовал смутную вину перед ней. Но невольно рука его скользила по ее плечу. . . И, глубоко вздыхая, она уже прижималась к нему. — Киса. . . как это ты нехорошо. . . очень нехорошо. . . — шептала она, тихонько всхлипывая и охватывая его шею. И он, туманно сознавая, что правильней этого сейчас не делать, жадно приник к ее сухим и горячим губам.

. . . Лежа рядом с ним, она смеялась грубовато низко и томно. И Шорохову все в ней казалось очень бесстыдным, и то нехорошее пренебрежение, которое он в молодости испытывал к слишком податливым женщинам, сейчас зашевелилось в нем. «Ведь среди бела дня. . . нет, с Наташей так не было», подумал он опять, представляя себе свои отношения с Наташей особенно высокими и чистыми в отношении того, что сейчас у него было с Любой.

— Степа, родной, как-то мы живем неладно — по-

ночному, — шептала Люба ему в ухо, — что ж это я сплю вместе с детьми... Давай — поставлю мою кровать здесь, — и мешать тебе не буду — ширмой отгородим: комната большая...

Он не знал, что ответить на ее слова — он еще не взвесил их, но осторожно и ласково освободился от ее цепких, словно присасывающихся рук и пошел к столу. Письма Наташи лежали на столе — тоненькие, аккуратные узоры почерка невинно, словно издавека, пели родную полузабытую, долго не слышанную песню, бледную, голубовато-зеленую, как предрассветное небо — совсем, совсем обесцвеченную, а на диване, другая, гневно и ярко румяная хмуро сводила ржавые брови, и тело, ее тело, запах которого он чувствовал на себе — шевелило складки ее одежды, которые двигались с той жизненностью, с которой дрожит блестящая шерсть сытого и молодого животного. «Одухотворять наши отношения», с горькой усмешкой подумал он.

Люба была оскорблена и изумлена. Она теперь вновь чувствовала, что нужна ему, и потому сразу заговорила о том, чтобы жить в одной комнате. И то, что он сейчас ушел от нее и перебирал какие-то бумаги — это значило, что он не хотел с ней жить, и опять у ней было ощущение какого-то тонкого обмана, как вчера утром, когда он подпевал ей.

— Что ты делаешь? — спросила она с вызовом.

— Это... — она увидела мгновенное смущение, потом он выпрямился и, глядя ей в лицо спокойно-утверждающим взглядом, сказал: — Это письма Наташины. Хочешь, вместе читаем?

— Наташины письма... — сказала Люба вставая. — Наташины... — Она яростно и беспомощно оглянулась и

увидела большой портрет сестры. — Что ты ее суешь мне постоянно? — крикнула она, забываясь в ярости.

Раньше Люба при упоминании о Наташе молчала. Но всегда за ее молчанием он неясно чувствовал то, что она сейчас выкрикнула. «Я сую ей Наташу?» подумал он, отдаваясь спокойному и холодному негодованию. «Это она о Наташе смеет так? Ну и что же, я ей скажу. . .»

— Да, Люба, тебе есть в чем брать пример с Наташи. . . — сказал Степан Григорыч спокойно. — Ты плохо работаешь над собой, а она. . .

— Не говори мне о ней, слышишь? — крикнула Люба. — Брать пример. . . Да что я, хуже ее. . . — и она с вызовом выпрямилась перед ним, словно показывая себя. — Она ни о тебе не заботилась, ни о детях. . . Но я знаю, чем она тебя брала. . . — и в ее крике уже были злые слезы. — Наташка хитрая была, она притворялась, что ей партия нужна, революция, все, чтоб тебя держать, а ты верил, дурак!

Он ошеломленный, слушал ее и смотрел в ее лицо как в костер, яростный и завывающий, — беспощадные и страшные черты, которые он раньше только угадывал, сейчас вдруг проступили в ней явственно и четко. И ее он считал воплощением нового молодого поколения революции, ее он считал такой же, как Ольга. И он подумал об Ольге, неясно обособляя ее от этой растрепанной и злобной молодой женщины, которая хрипло кричала, захлебываясь в гневном плаче:

— Я простая, я по любви отдалась тебе. Так нет же, не будет больше так, я все переверну, все, и я Наташку вышвырну отсюда. . . — и она устремилась к портрету. . .

— Вон! — стиснув кулак, крикнул Степан Григорьич, и Люба на его лице увидела гнев, какого никогда не видела. Он точно нанес ей удар этим гневом, и она сразу ослабла и с плачем ушла.

С бьющимся сердцем и дрожащими руками, чувствуя, как его всего прошиб какой-то едкий и злой пот, Степан Григорьич опустил в кресло. Очень давно, со времени ранней молодости не испытывал он такой низкой и удушающей злобы. Нет, — это совсем не была та возвышающая ненависть, которую он испытывал к врагам своего класса. Это было другое — мелкое, вяжущее и обессиливающее чувство. «До чего довела. . .» и в нем вдруг слабым отзвуком повторилось рычащее слово, которым его сын обругал эту женщину, и он пристыженно и испуганно оглянулся. «Нет, так нельзя», думал он, слушая, как Люба, всхлипывая, нежно и ласково говорила с Валькой.

Он испугался этих — вдруг обнаружившихся низменных и страшных черт своего характера. «Этак я еще бить ее буду», подумал он. «Что же делать? Разойтись с ней?» Но сейчас, когда так решительно обнаружилась ее враждебность, он чувствовал и силу привычки к ней, к ее голосу, к быстрым и гибким движениям, почти физическую слитность с ней. «А как легко и свободно было с Наташей», подумал он, убегая от мучительной противоречивости своей жизни в прошлое, такое идеальное, возвышенное, — вот оно, грудой уже пожелтевшей, тронутой тлением бумаги, лежит перед ним. И Степан Григорьич следует за тоненькой, ровной нитью почерка, словно это Наташина походка — она идет впереди и явственно шепчет что-то, и этот шопот то неразборчив, он не доходит

через толщу времени, то вдруг прозрачно слышно каждое слово Наташи, — и вот она. . .

«Опять, Степа, мы не вместе. И все же я точно с тобой, так хорошо было вместе эти три недели. И я очень хорошо представляю себе все, что ты делаешь, и могу как бы следить за тем, как ты ходишь, живешь, дышишь, работаешь, — словно я это делаю через тебя. Сейчас я подумала, что все это будут читать глаза тюремного начальства. Но я, когда писала все это, я все время чувствовала, что ты на свободе, а я в тюрьме, и я не постыдилась и при них поцеловала бы тебя и все это тебе бы сказала, их для меня точно нет. . .

«В камере кроме нас, известных тебе, еще одна эс-ерка, я с ней дружусь на удивление товаркам, а то ей, видать, одиноко. . .

«Эта девушка эс-ерка, она очень скучает по кому-то, верно по любимому человеку, ей охота рассказать, но она молчит. А я ей рассказывала о тебе и о девочках. . .

«О девочках. . . Это она пишет об Ольге и Любе вместе», подумал он, теперь уже четко отделяя Любу — во всей страшной подлинности ее проступивших новых черт — от Ольги, оставшейся туманным и радующим воплощением молодого революционного поколения.

«Как ты с ними?» читал он дальше. «Хотя Люба, верно, тебе помогает, она даром, что младшенькая, но умница в смысле хозяйства. . .» Он опять остановился и прислушался к себе, эта похвала неожиданно поворачивала все, что было между ним и Любой — против него. . . «Мне очень приятно было об вас обо всех рассказывать, точно я вас вижу. И она говорит: «Я счи-

тала — вы все марксисты — сухие, а я такого теплого человека, как вы, никогда не видела. Вы верно плохая социал-демократка». Это я-то! Ну тут мы с ней поспорили и даже поругались, но вечером она ко мне подо-
двинулась и, слышу, плачет. Я ее поцеловала, а она говорит: «вы мадонна...» Я засмеялась, а она говорит: «У вас в смехе есть материнское что-то...» и дальше какие-то пустяки. Я удивилась, как это эс-еры даже любят показывать себя революционнее наших, а вдруг чушь такая — религиозная: мадонна.

... Потом говорит: «Мне молодости своей жаль, я сохну без него и скучаю». А я говорю: «Кто так скучает, тот мало любит, — если сильно любишь, можно этого человека постоянно чувствовать с собой...» А она удивилась, помолчала и говорит: «А верно вы сказали, я его скоро разлюблю...» Потом еще помолчала и говорит: «Я вот сейчас вам сказала то, в чем сама себе не могла сознаться... Неужто ж это так...»

14 февраля 1910 г.

«Сын! Пусть это слово само войдет в твою одиночку, Степа. Девочки смеются, что он такой же косоглазенький, как ты, на улице — солнце, весна... Я злая, измученная, не долежала положенного: плохая вещь — безденежье и зависимость от сукина сына — либерального господинчика, редактора газеты... Тяжело, трое ребятишек. Правда, Люба очень хорошо помогает мне по дому...»

У Степана Григорьича опять шевельнулось неясное чувство вины перед Любой, но он уже жадно читал дальше. «И я держусь, Степа. С нами борются двояко:

во-первых — тюрьмы, ссылки, гонения, — и все это легче вынести, чем когда против тебя встают мелочи жизни — детей кормить нечем, сердце разрывается... А потом я осмыслила, что это тоже наш враг капиталистический строй борется с нами, с теми, кто в годы реакции продолжает держать позиции. И, знаешь, я пожалела, что поддалась безрассудному инстинкту и родила...»

И Степан Григорыч встревожился и перестал дальше читать: эти слова, казалось, выражали то же самое, что он испытал, когда увидел в Любе слепую и страшную силу. Он еще раз перечел эти строчки, чтоб уловить, уточнить, опознать это сходство, оно рассеялось, стерлось — теперь выступил вперед более поверхностный, фактический смысл этих наскоро написанных слов о рождении сына. И он уже с восторгом читал дальше. «Сначала я не хотела тебе обо всех этих горестях писать. А потом вдруг подумала, что тебе хоть спокойней будет, если не напишу, но приятней, хотя и беспокойней, если напишу, так как ты будешь знать, что оттого, что я тебе написала, мне стало легче. Понял ли ты меня? Но мне уже стало легче. Значит и тебе будет хорошо».

«Что же это, Степа. Год не виделись, три часа вместе, и эта неожиданная разлука на два дня, которая, судя по тому, что ты опять в тюрьме, может продолжаться месяцы и годы.

«Иногда подумаешь — молодость проходит, только хвостик остался и жизнь пройдет, а где же наша любовь? Была она — была, вот дети. Но мы-то, сколько мы вместе были? Только часы, редко дни. Но эти часы,

эти маленькие крупинки времени, какие они тяжелые, как много радости в них. И разве у тех, кто обладает счастьем каждый день вместе обедать (я серьезно пишу, я очень сильно мечтала обедать с тобой каждый день, а это довольно редко получалось). Но разве у этих людей такое вот тяжелое счастье есть, как у нас?»

11 июля 1913 г.

«... А мы опять на подъеме, новая партия арестованных, и среди них — кто бы ты думал? — Люся. Хотела бы я видеть сейчас твое лицо, ты, верно, смущенно улыбнулся. По ее смущению, когда она узнала, что я твоя жена, я догадываюсь о том, что между вами было... И откровенно скажу — я бы ее побила, да и тебя тоже... Я не хочу, чтоб ты любил других... Это ревность и как угодно считай, да и я же ничего другого сделать не могу, кроме как сказать тебе, что я не хочу...

«Ах, Степа, — я состарюсь раньше тебя, ты сойдешься с другой, это ужасно и безжалостно и неизбежно, но что ж мне делать, что я не хочу... И как же дети?»

— Таля... — сказал Степан Григорыч ласково и нежно-смущенно и двинул рукой, словно желая пожать ее руку, успокаивая, уговаривая и укоряя ее. Но ее не было, и это вызвало живое чувство неудовлетворенности, как будто он ей говорил что-то важное и главное и вдруг обнаружил, что она давно ушла. Раздраженные оттенки ее голоса он внутренне слышал, и в них было то же, что в недавнем крике Любы, в яростном ее порыве в сторону портрета Наташи, — да, На-

таша ревновала его, и она мечтала вместе обедать, и это тоже напоминало Любу. Туманная идеальность его прошлого рассеивалась, и в ней он со злобой опять же почувствовал какой-то неуловимый Эйдкуненский обман. Но почему же обман?

И он вспомнил дни отдыха с Наташей, очень немногие часы, когда вместе гуляли, ходили в цирк. Читали вместе? Да, как-то само собой, а больше все тоже чудили и дурачились, как ребята. Но политика — она была тем воздухом, которым они дышали, она пропитывала все. А Люба, маленькая родная и милая девочка, — когда после скитаний, нелегальщины он получал возможность заглянуть домой, она пришивала ему пуговицы и стирала белье. Да она порой и обед готовила, и ребят нянчила... ведь Наташе было некогда, а Люба — она всегда любила этим заниматься. «Наташе было некогда», еще раз повторил он, вслушиваясь в эту мысль, словно проясняя ее для себя. В ней было неожиданное оправдание того, что Люба сейчас такая, и утверждение Любы такой вот низменной, страшной, какой она открылась ему сегодня — все это выросло из этих вот писем Наташи... И в нем поднялось возмущение против всего, что с ним случилось, против всей этой неправильной какой-то любви — и разом представил он начало ее и увидел, что оно бессмысленно и случайно. «Ну, а если бы я постучался перед тем, как войти в квартиру. Ведь я бы не увидел ее голой — и ничего не было бы...» Он хотел освободиться от нее, этой бессмысленной случайности, но нет, она была во всем, и в голосе Вальки, заглушенно доходившем из соседней комнаты, и в колебании занавесей на окнах, и в каждой жилке его

существа — и даже в этих вот письмах Наташи, лежавших перед ним на столе.

Глубоко задумавшись, опустив голову, положив смуглые руки на стол, стоит Степан Григорыч, а рядом в соседней комнате у окна рукодельничает Люба, она заплакана, она даже чуть осунулась и побледнела, но непобедимое выражение упорства напряжено в каждой черточке ее лица.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

21

Когда Борис оставался один, он сам с собой любил начинать игру, которая шла в его мыслях и о которой никто не знал, так как он стыдился о ней рассказывать. Он воображал большую революционную войну с мировой буржуазией, Борис волнуясь всегда представлял карту обоих полушарий (она висела над его кроватью) — и вот уже интернациональная красная армия вступает в Париж (это было одно из излюбленных мечтаний — парад у стены коммунаров), и вот Индия уже восстает против англичан.

А он сам, Борис Шорохов, он начальник всех революционных войск, он — как Троцкий в гражданскую войну, и все красноармейцы его знают и любят, как Чапаева, Блюхера и Буденного знали и любили их дивизии. Но самое горячее в этой игре было то, что вместе с ним и под его началом были все ребята из отряда и эта мысленная игра являлась отражением того, что происходило в отряде: случалось Боре с кем из товарищей поспорить, и это сейчас находило отражение в игре, и товарищ, с которым поспорил

Борис, оказывался комиссаром дивизии, не выполнившим приказание, или разведчиком, струсившим во время разведки, иногда он даже приговаривался к расстрелу, но потом, под каким-либо предлогом Борис прощал его. Так месяцы шла эта игра, с каждой прочитанной книгой или газетой она осложнялась, но некоторые излюбленные эпизоды в основе оставались одни — и порой, с горящими глазами, неясно бормоча что-то про себя, Борис шел в толпе, и прохожий, обругавший толкнувшего его рассеянного, смуглого и худенького пионера, не подозревал, что тот в Бенаресе вооружает восставших индусов.

Но после того, как Степан Григорьич сошелся с Любой и Люба ударила его, эта мысленная игра вдруг начала как-то меркнуть. Играть хотелось и, оставаясь один, Борис попрежнему переносил себя в этот воображаемый мир, но его мечты как-то странно одеревянели, они не обогащались новыми, волнующимися и живыми подробностями, игра снова повторяла прошлые свои положения.

Особенно почему-то мешали ему предаваться этой игре мелочные и серьезные хлопоты, связанные с помещением матери Берты в санаторию. Распоряжение о ее принятии уже было, но Борис никак не мог уговорить Берту, чтобы она подготовила мать к поездке в лечебницу.

И вот он еще раз шел к Файнерман и представлял себе, как сразу же его скует обычный припадок принужденности. И потому он уже в дверях шумно и громко сказал: — Ну, Берта, все идет на ять... — и сразу осекся: в заглушенной тишине этой большой, увешанной коврами, комнаты, в воздухе, густо настоен-

пом на крепком кофе, валерьянке и капризном аромате духов, эти слова прозвучали неправильно весело и громко. «И ведь она понимает все это. . .» подумал он то, что всегда думал, когда встречал внимательный, жалобный и знающий взгляд Берты, и добавил уже другим, соответствующим окружающему тоном. . . — Я, Берта, теперь уже все узнал, эта санатория — хорошая санатория, очень близко от Москвы. На трамвае доехать можно. . . и навещать разрешают.

У Берты задрожали губы, влажно блеснули веки. . .

— Сумасшедший дом?—спросила она закусывая губу.

— Нет, я же говорю, что санатория. . . и навещать можно. И ты не реви. Слушай, Файнерман, ты не реви, только не реви, слышишь, а то я уйду. . . а нам ведь еще надо сговориться.

— Нет, нет. . . я ничего, Боря, но ведь мама же. . . — ее пухлое детское лицо дрожало. И Боря в такт этой дрожи начинал жить, двигаться и говорить. — И ведь ты сама говорила, что тебе плохо, ведь она же тебя бьет, — болезненно выкрикнул он. — Разве можно тебе с ней?

— Видишь, Боря, я на папу похожа. . .

— Ну. . . — сказал Боря недоуменно, теряя нить разговора.

— Ведь папа его убил, — и Берта указала на портрет улыбающегося студента, это было точно солнечное окно в другой веселый мир.

— Но ты же не виновата в этом. . . — И Борис схватил ее за руку, а она с дрожащей улыбкой говорила быстро и, как всегда при волнении, немного картаво.

— Она меня ударит, на него. . . — и Берта указала на портрет, — покажет и спрашивает: «Вот тебе больно,

а ему, как было...» и еще сильнее ударить и опять спрашивает... И мне сначала больно, правда, а потом, когда уже очень больно, так хорошо даже, так горячо и кружится все... — И Берта уродливо, с гримасой улыбнулась и слегка закатила глаза. — И вот она меня бьет, а я ее жалею... Так жалею. И мне хорошо, потому что я знаю, что она бьет меня, бьет, а потом сама вдруг так жалеть начнет, и так целовать, и так обнимать, и так просить прощения, и мы уж как подруги, и вместе плачем, и она рассказывает о папе и о нем — вот этом и как это хорошо и страшно — любовь. И вдруг закричит сильно так: «А теперь ничего не осталось, земля, гниль, кости, черви...» И я тоже за ней — закричу...

— Не хочу я все это слушать... нехорошо все это... — сказал Борис, проводя тыльной стороной руки по лбу и щеке, точно снимая с себя клейкую паутину этих слов. — Молчи, Файнерман. — Он взглянул на нее, на ее затихшее, углубленное в себя, замученное личико. — Бедная, бедная... маленькая, — сказал он вдруг горячие, ласковые слова, возникшие сразу и прорвавшие пелену суровости. И, схватив его за рукав, она заплакала совсем другими, легкими слезами.

— Ну вот, слушай, не надо, я же уйду, мне смотреть нехорошо, — говорил он, спадая на шопот, чтобы не заплакать, и неумело, сильно надавливая голову, гладил ее волосы.

Раздался звонок. Берта быстро стала утирать глаза.

— Ну вот и мама твоя пришла, а мы ни о чем не условились.

Эсфирь Абрамовна Файнерман вошла в комнату, на ходу снимая шляпу и досадливым движением освобо-

ждаясь от жакета, который она тут же бросила на пол. В ее черных кудрявых волосах была уже седина, но красота была и в строгих очертаниях ее лица, и в движениях ее длинных пальцев, и в каждом повороте ее большого и стройного тела. Тревога, как ветер по полю, проносилась по ее лицу, она оглянула комнату, поморщилась, села к роялю, взяла пестрый аккорд, встала, заметила Бориса, кивнула ему — он тоже неловко поклонился.

— На улице пыль, такая пыль... и очки стали носить круглые, как пароходные окна...

— Мама, ты есть хочешь? — спросила Берта из-за двери, и Борис вздрогнул — прикованный к откровенным движениям и словам помешанной, он не заметил как остался один с ней в комнате.

— Есть? Да, я хочу, Берта, я очень хочу...

Берта внесла крынку молока и хлеб. — Хочешь, Боря? — спросила она с дружественной заботливостью, указывая на еду.

— Нет... — отрывисто ответил Боря. Эсфирь Абрамовна, боком присев на стул, жадно ела, не обращая внимания на ребят, тихо шептавшихся возле рояля, потом насытившись, она встала и с выражением физического довольства прошла по комнате и легла на кровать. Только сейчас она впервые внимательно посмотрела на детей и тихо рассмеялась. Они сразу прекратили шопот.

— Ты что, мама?

— Это откуда мальчик такой? — спросила она с живым интересом.

— Это — Боря Шорохов, он был у нас...

— Боря Шорох... Шорох... это верно. Это очень

верно, — сказала Эсфирь Абрамовна оживленно. — Вы шепчетесь там, и он темненький такой, дымный, и получается Шорох. . . А ну, Шорох, иди сюда. . .

Борис подошел к кровати и посмотрел ей в глаза. У нее был золотисто-карий, живой зрачек, веселый взгляд любопытного ребенка. Несколько секунд она смотрела на него и вдруг затуманилась. . .

— А какая ты, Берта, испорченная девчонка, — сказала Эсфирь Абрамовна с интонациями неожиданной материнской заботливости. — Ты приводишь этого мальчика. Не слишком ли рано все это, — и в интонации материнской заботливости странно вплелись оттенки сумасшедшей дикости. — Ведь это ж так и наступает, это вот. . . «Ско-лько сча-стья, ско-лько муки», запела она высоким и легким голосом.

— Ты, Боря, иди и жди меня на улице, я ее уложу сейчас. . . — сказала Берта, и он видел ее глаза, ставшие большими и тоскливыми, взрослые глаза на детском лице.

— Она бить тебя будет? . . — спросил Боря, схватив ее за плечо.

— Нет, нет, Боря, нет, ты уйди. . . — Она тихонько подталкивала его к двери и озабоченно оглядывалась на мать, а та, размахивая белой рукой, несоразмерно и дико пела, все возвышая и возвышая голос, и некоторая нарочитость и преднамеренность слышались Борису во всем этом, но он был уже на улице, и, проведя рукой по лбу и щеке, он вздохнул облегченно и радостно — уличный воздух, напитанный запахом кислой капусты, бензинного дыма и печеного хлеба, был простой и веселый, после кофейно-лекарственного застоя комнаты Файнерман, в которой щекочущий

запах капризных духов плавал в воздухе, как слова любви, которые говорила и пела сумасшедшая.

«Что же все это такое?» с негодованием спросил Борис окружающее, весь широкий мир городов и сел, где среди больших людей, борющихся, занятых работой и любовью, рассеяны маленькие люди, которые тоже пытаются заниматься самым важным своим делом, огромной детской игрой, которая должна бы охватить всех детей мира, но взрослые, занятые собою, небрежно разрушали песочные города, построенные детьми, шагая по ним и сметая их юбками — и двигали стулья в комнатах, где дети проложили головокружительные мосты своих железных дорог.

— Они все — эти папы и мамы — и коммунисты и рабочие, и такие вот образованные, как у Берты, заняты тем, чтобы делать то стыдное и важное и не совсем понятное, от чего рождаются дети, а потом — вот как беспризорный, — ведь кто его родил и бросил, а папа посмотрел на него и ничего, он даже не увидел его. . . Да и я тоже, недавно еще ничего не видел, и меня хвалили, примерный пионер. . . Ах, сволочи. . . — бормотал он в своем храбром гневе, порицая все, начиная от отца и кончая собой, и он сжимал кулаки, так что ногти впивались в ладони, и перебирал все то, что сейчас по-новому открылось для него: вот Петька Колосов рисует в уборной узнанное из перебранок отца с матерью, а его за это хотят исключить из отряда; вот Вите Сычеву, сыну рабочего, с детства в праздник отец наливает рюмочку водки, и вот отец Володьки Долгова, учитель, избивает мать, подозревая, что она Володьку зачала от другого, Володьку, которого он сам все же любит.

Берта выбежала на улицу и прервала его гневные мысли. Он жалостливо и пытливо вглядывался в ее лицо. Она была заплакана, но старалась улыбаться. — Очень трудно было уложить, ведь она совсем больная.

— А как она на службе? — неожиданно спросил Борис, злобно додумывая то, что не успел додумать, когда заметил нарочитость в пении Эсфирь Абрамовны.

— Ничего, она на службе ничего, — невнятно заговорила Берта и вдруг покраснела, словно он ее поймал на нехорошем.

— Сволочи, сволочи... — с ненавистью пробормотал Борис. — Слушай, Берта, разве ты не видишь, что она нарочно тебя истязает, что это ей доставляет удовольствие, ведь если б она не могла сдерживаться, она и на службе то же делала...

— Да... — шопотом сказала Берта, опустив голову, и Борис впервые в ее голосе услышал простую и горькую обиду.

— Вот видишь? — воскликнул он, схватив ее за руку. — Это больше не должно быть так.

— Правда... И ее, может, вылечат? — виновато, но опять тихо и просто сказала Берта и заплакала. Но это был обычный, простой и горький плач, так же плакал Валька. — Какой ты, Боря, очень хороший, — всхлипывая сказала она.

Раньше в Борисе она воплощала все то, чем было детство и чего она так мало имела. И когда этот смуглый, тоненький и смелый мальчик так близко подошел к ней, она увидела, что сама не представляла, каким необыкновенно и непонятно хорошим и добрым был он. И она в нем не допускала ни одной мысли, ни одного чувства, похожего на свои... но в нем она сейчас не

чувствовала и того — самого главного, что ей было нужно — детской беззаботности. И она уже думала об отряде, о веселой беготне и смехе детей на зеленых полянах.

Оставшись один, Борис на несколько секунд остановился в нерешительности. Был уже поздний вечер, в лагерь надо было ехать по железной дороге, идти ночью через лес... Спать он, стало быть, мог лечь только в два часа. Был прямой смысл переночевать дома и утром в шесть ехать в отряд. Но дома было очень нехорошо... сейчас то, что было между отцом и Любой и что приносило им какие-то непонятные и стыдные радости, превратилось в другое, отчего им обоим было плохо... Это тревожило, вызывало ненужную, беспокойную тоску.

И Борис горячо и радостно подумал об отряде, сливая свое, только сейчас вот, при прощании с Бертой, возникшее, новое ощущение ее, как обыкновенной, маленькой, плачущей девочки, с желанием вернуться в отряд. И он уже представлял БERTY в лагерях такой же просто-веселой, как просто она плакала. Он знал, что БЕРТА теперь уговорит мать лечиться. И все это тоже были мечты, но они, по живой своей осуществимости, были приятнее, чем мечты о себе, как вожде международной красной армии.

В заношенном платье и застиранной голубой косынке, с лицом вдохновенным и торжествующим, Люба стоит у порога квартиры и соображает генеральный план перестановки. Вот оно — старое, уже омертвевшее обличье ее комнаты, которое она сейчас разрушит —

перенесет свою постель в комнату Степана Григорьича, нарочно передвинет всю мебель и этим начнет новую полосу своей жизни, как жена Степана Григорьича и признанная хозяйка этой квартиры.

И вот, мысленно по-новому расставив все предметы, она скатывает постель и тюфяк, относит скатку в комнату Степана Григорьича и потом начинает складывать кровать, преодолевая сопротивление заржавевших, окостеневших суставов ее с такой торжествующей злобой, словно они и есть ненавистный старый уклад их семьи.

— Люба, тебе вот папа письмо оставил. . . — сказал вошедший в комнату Валька. Люба разгоряченная от работы, оставила кровать, рассеянно поцеловала его в голову, торопливо и тревожно разорвала конверт.

Письмо было тяжелое, и у ней тоскливо и длинно потянуло от сердца вниз к желудку, но она, связав это ощущение с усталостью от яростной возни с постелью, не вдумалась в него.

«. . . И вот, когда ты будешь читать это письмо, я, верно, буду уже в верстах двадцати от Москвы. Ты пойми меня, Люба, я бы мог сказать тебе, что уехать меня вынуждают дела, и это наполовину было бы правдой, но вторую половину представляешь ты. Видишь ли, Люба, я не могу понять моего отношения к тебе. Во-первых, ты меня, то, что называется, присушила, ты и в жилах, и в костях, и я хочу с тобой жить, — это ясно. Но отношения у нас создаются не такие, к которым я привык по жизни с Наташей, а совсем, совсем другие, я бы сказал — противоположные. И в то же время я чувствую твою правоту, когда ты добиваешься своих целей. И вот вчера, зрело раздумав, я решил себя

ломать. Обойтись я без тебя не могу. Не могу. Ты хочешь быть моей формальной женой? Идет. Вот потому я пришел вчера и сам сказал тебе, чтоб ты перешла жить ко мне в комнату, и я решил целый день провести с тобой. Но как это было лениво и бездельно! В кино ты смеялась над этими жалкими людьми Патом и Паташоном вместе со всей глупой публикой. Потом длинный чай... О чем мы говорили с тобой, я даже вспомнить не могу, а спать легли вместе.

«Потом еще одна вещь — ты попросила разрешения снять портрет Наташи. Я в ответ промолчал, ты его сняла, и я не сопротивлялся. Ты знаешь, что для меня Наташа, но ее же нет, зачем же я не могу тебя, мою теперешнюю жену, успокоить этой мелочью. Так рассуждал я, но под портретом оказались яркие такие обои, пятно вроде как солнце осветило, свежие такие краски. И вот — представь — пятно это все время перед моими глазами. Довольно глупо, а? Но я подумал, что вернусь и изо дня в день буду видеть, как это пятно тусклеет... Тут как раз и подошло, окончательно решать, ехать или нет в Туркестан. И я решил уехать, на тебя не взглянув. У меня против тебя, да и у тебя против меня, иногда такая злоба, что я боюсь, как бы мы чего доброго не стали драться. И все же, я уезжаю, но надеюсь, что все это как-то с нами обрывается за это время.

«Жалованье тебе будут присылать. Если что тревожное — звони Эйджунену, он мне сообщит. Борис скажи, что я в командировке. Вальке я это уже сказал. Прощай.

Степан».

Любе казалось, что в тот момент, когда Валька ей давал письмо, она заранее предугадывала тонкий обман, пронизывающий его. Ведь вчерашний день и все сегодняшнее утро она впервые чувствовала себя законной женой Степана Григорьевича. «Муж...» думала она, сидя рядом с ним в кино, искоса, осваивающим и теплым взглядом осматривая его милое лицо. «Мой муж», с гордостью думала она вечером за чаем, наблюдая, как он читает газету. И даже во сне она неясно, но остро вспоминала о той новой, прекрасной полосе жизни, в которую она вступает, и крепче прижималась к нему, к мужу. А теперь... «Он к другой, конечно, к другой поехал...» уверенно и ненавидяще подумала она, и у нее опять длинно и тоскливо потянуло сердце, и она ощутила внезапный приступ тошноты. «Я больна совсем, а в городе пыль такая, духота, и такой шум, и лечь даже негде».

Она видела переломившийся посередине, вставший горбом, скелет кровати, видела облупленные, угловатые суставы ее, бесстыдные и грубые. И она горько заплакала, точно все это воплощало ее жизнь, искаженную, начавшую перестраиваться и не перестроенную, бесстыдно обнаженную... Маленький мир, ее мир, за который так яростно она боролась, сейчас таял и оседал. И она ушла в комнату Степана Григорьевича и бросилась на неразвернутую скатку своего тюфяка, на грубую его холстину, и вдруг опять вздрогнула от повторения этого длинного, тянущего ощущения, немного тошнотного и странно соединенного с сосущим чувством голода. «Я больна...» подумала она. «Уж не жар ли у меня?» Она тронула рукой лоб, но не могла ничего определить. Тогда она просунула руку

за ворот рубашки и разом привсталла, на ощупь она не узнала своих грудей, они показались ей тяжелей и тверже чем обычно. «Не может быть. . . Может быть, нет. . .» с ужасом сказала она себе, быстро и бес-связно перебирая числа. «Конечно, конечно». Она глядела перед собой, и ей казалось, что ее жизнь кончилась и впереди какая-то серая яма. «И это я, я брала приз по бегу в прошлом году, в это время. И все смотрели на меня и радовались, что я такая. Нет — надо, чтобы этого не было. Значит аборт?» И она с ужасом представила ту гримасочку физической боли, которая пробегала по лицу ее подруги, когда она рассказывала, как ей делали аборт, все эти унижительные страшные подробности. «И это все из-за него. . .» Сейчас к нему она испытывала только злобу, ничто от прежнего уважения, ничто — от новой привязанности к его телу, к его ласкам. «Он там катается с другой, а меня здесь будут терзать. . .» и она заплакала от жалости к себе. «И вот я сделаю аборт и уйду. . . и умру», думала она, лихорадочно представляя это так, как она недавно читала в каком-то стихотворении, современном, жалобном и длинном. Но представления эти были бледны, как тени, и сразу рассеялись, когда Люба услышала, как скрипнула дверь. Она подняла голову и неясно сквозь серебристо блестящую плену слез увидела Вальку.

— Ты не плачь, Люша, папа сказал, что скоро возвратится, — тепло прошептал ей Валька на ухо, и она почувствовала на горячей и влажной щеке ребяческий его поцелуй, неловкий, пресный и совсем ненужный ей. Она испугалась своего нового, какого-то отчужденного отношения к Вальке, но тут же подумала неясно: «Если

бы мой был. . .» Она подавила в себе эту, показавшуюся ей неправильной мысль, обняла и горячо поцеловала Вальку. «А все-таки — будь он мой, Степан так со мной не сделал бы. . .», — продолжала она думать — Знал бы он, что я беременна, так он даже не уехал бы. Может, написать ему». Но она оскорбленно нахмурилась, в этом было что-то унижительно-неправильное. Нет, ничего ему не напишу и никуда не уйду, я останусь здесь, и пусть все это будет, а я не могу уйти, мне дети поручены. . .» думала она, прислушиваясь, как в соседней комнате, весь перевоплотившись в игру, бормочет сам с собой Валька и двигает кубики. И опять что-то помешало ей так любовно и горячо отозваться на эти милые звуки, как всегда она отзывалась. И точно, чтобы напомнить, что именно мешает, она сразу же ощутила странный, капризный голод, желание съесть что-то скользкое и острое. Как всегда после плача, она особенно глубоко вздохнула, и, уже радуясь этому новому и значительному ощущению, она выпрямилась и опять уверенно оглядела мир своих комнат, по-новому утверждаясь в нем.

23

Люба вяжет в кресле у окна. Она всегда любила это место, но сейчас, после отъезда Степана Григорьича, за последние недели, наполненные сосредоточенной подготовкой к тому — самому важному, что ненарушимо укрепит ее в центре этого маленького мирка, она целые дни проводит здесь. Она открывает дверь в кабинет, и перед глазами — сразу вся чистенькая квартира, входная дверь — если скосить глаза налево, вся площадь

с оживленно спующими людьми — если скосить глаза направо.

В дверь стукнули так тихо, что Люба сначала посчитала, что ослышалась. Но стук повторился. — Войдите. . . — сказала она вяло и, не переставая вязать, медленно подняла глаза, ожидая увидеть или соседку с примусом, или почтальона, но кровь сразу, с шумом бросилась к голове, и она, не справившись с волнением, громко вздохнула: на пороге несмело, с дрожащей улыбкой стоял Володя. Он стоял на пороге и не мог сделать шага и еще не верил, что голубые глаза и темно-ржавые брови, яркий румянец, все это живое и неповторимое сочетание теплых тонов и есть она — Люба, которой он был точно отравлен все это лето, которую сначала самолюбиво ненавидел, о которой потом мечтал униженно и забвенно, вспоминая ее поцелуи и то, как она позволяла обнимать себя. — Вот. . . я к товарищу. . . и дай, думаю, зайду. . . — сказал он, смутно чувствуя, что как-то говорил ей эти слова. «Она молчит, она сердится на меня, что же мне без нее нельзя. . .» — Я, Люба, прощенья зашел просить, — его голос дрожал и срывался. — Я так обругал тебя, не сдержался. . . Она еще молчит, и он, как к яркому свету приучив свои глаза к ней, видит ее не так, как в первый миг, не сочетанием световых пятен, а уж выпукло, осмысливая ее, осторожно трогая ее взглядом. И он замечает в ней перемену, хуже или лучше он еще не может сказать — она какая-то более плотная, зрелая, тяжелая, на руках ее пестрое вязанье, эти ласковые, лукавые и безжалостные руки с вязальными спицами и яркими клубками напоминают что-то искони детское, мать или сестру. . . И эта Люба делается ему сразу лучше и нужнее, чем та,

о которой он мечтал. «Разве прощенья мне нужно? Разве за этим я пришел?» — продолжает он под напором ее молчания отметать свои же слова, только сказанные и как будто бывшие тогда правдивыми. И точно становясь ногой на устойчивый твердый грунт, он говорит с силой: — Мне, Любанька, без тебя жизнь не в жизнь, я вот из отпуска приехал на три недели раньше, и ничто на ум не идет. И ведь не хотел я сюда идти, но ноги сами идут. Я бы сейчас на колени перед тобой стал, ноженьки твои бы целовал. . . — повторял он, чувствуя восторг от того, что эти слова, которые раньше он считал унижительными, сейчас произносились так свободно, как человек ходит, или машет руками. — Ноженьки твои милые, — сказал он еще раз с нежностью к ее сандалиям, разношенным и уютно принявшим форму ее маленькой и широкой ноги. И Люба жадно слушает эти никогда еще не слышанные слова и смотрит в его лицо, наливающееся молодым забывающим себя восторгом, и тоже забывает о себе и впитывает все это, как сухая земля впитывает дождь.

— Ведь я сволочь. . . я вроде поиграть тобой хотел, и я тебя обругал тогда и обиделся, что мне от бабы — отказ, когда ты меня подсекла. . . А потом думаю — стой, она не такая, совсем не такая, — говорил он, опять наново переживая то чувство уважения к ней, которое он обнаружил в себе после того, как схлынули его досада и гнев на нее за то, что она его оттолкнула. — И стал об тебе, только о тебе думать. . . и ты вот молчишь, сердись. . .

Он захлебнулся этим неистовыми, от самой глубины его искренности идущими словами и полез за портси-

гаром. Но пальцы его дрожали так, что он не мог запустить руку в карман.

«Я сержусь?» молча спросила она себя. «Он — такой ласковый, молодой, красивый. Он так высоко меня ставит... за что же это сердиться на него? За тот пустяк — тогда? Но что же это происходит сейчас с нами?» — Я уже об этом забыла, Володя, и не сержусь... — шопотом сказала она.

— Слушай... — задыхаясь сказал Володя. — Слушай, Люба, иди за меня... замуж... — эти слова он произносил первый раз в жизни. Когда он шел сюда, он еще не знал, скажет ли эти страшные слова. И теперь, когда он их произносил, он восхищался своей силой, тому, с какой легкостью он бросает эти тяжелые и огромные слова в жизнь. — Я тебя любить, беречь буду, Любанька моя. «Что это он говорит мне, такое прекрасное, такое нужное, самое нужное... но ведь ему что-то мешает... ах», и она заплакала разом и обильно от ужасного несоответствия радостной летучести, которую ей придавали эти слова, и той тяжелой завершенности, которую она ощущала в своем теле.

— Ты что, Люба? Что, милочка?... — Он уже смутно тревожился — ее плач был непонятно горек.

— Уйди, Володя, — всхлипнула она, — уйди от меня...

— Но почему... — растерянно сказал он, несмело поцеловав ее теплые волосы.

— Нечего тебе со мной... — жалко сказала она. — Да уйди же скорей, ну. — Она подняла на него глаза и, увидев его участливое и встревоженное, молодое лицо, еще сильнее заплакала. — Я беременна... беременна... и уйди... — сказала она сквозь рыдания.

Хотя Володя ясно слышал это слово, но он не допускал блеснувшего, как страшная молния, смысла его.
— Что? — переспросил он.

— Я беременна, — жалко, сморкаясь сказала она, и опять искоса, быстро взглянула в его ошеломленное лицо. — Уйди. . . — крикнула она почти со злобой, опять заливаясь слезами. — Я тебе не нужна.

«И правда, зачем она мне нужна. . . и сейчас я уйду. Ведь не могу же я теперь с ней. . .» но эти суждения как бы пришли извне, они прошли по верху его сознания и были бессильны заставить его уйти. Он смотрел на нее и чувствовал, что она нужна ему — вот такая жалкая, заплаканная, с располневшим, позорно и несмываемо обидно-обезображенным телом, опустившимися вниз чертами лица. «И надо мной смеяться будут. И я бы сам смеялся. . . Да что же это все?»

— Как же, Люба? — спросил он ошеломленно. — Я понять не могу. . .

— Я. . . со Степой сошлась. . . — всхлипывала она.

— С каким Степой? — удивляясь переспросил он.

— Со Степаном Григорьичем нашим. . . — И то, что Володя даже не предполагал, что она могла сойтись со Степаном Григорьичем, как-то особенно горько обижало ее.

— Уйди. . . скорей. . . — сказала она, пряча лицо и махая рукой в сторону двери. — . . . Прошу. . . уйди. . .

Но он не уходил. — Со Степаном Григорьичем? — повторил он. «Ведь Люба же ему как дочь. . .» Все это было неправдоподобно и нелепо, но он не стал на этом сосредоточиваться — ему надо было обдумать другое — самое важное, — как это так получается, что

вопреки тому, что она сказала о себе и что, казалось бы, так обесценивало ее, он все же не может от нее уйти. «Да, она родит. Родит. Но она же — вот она, она же молодая. Она нужна мне...» Эта мысль была очень туманна, и он для себя пояснил ее так: «Да, я не могу уйти, я ее жалею. Да разве ж я отступлюсь от своего слова? Вот ведь Булавин какой передовой», думал он о себе со стороны, также как раньше — со стороны представляя, что над ним будут смеяться. И он вздохнул и сказал снисходительно и ласково любясь собой: — Да... мне обидно, Любаша... ты это понимаешь... но в жены уж я тебя возьму, конечно.

Ее словно бичом хлестнул унижительный смысл этих оттенков голоса. И сразу загорелась старая обида против него. — Убирайся вон отсюда. Слышишь! — крикнула она и, со злобой отвернувшись от него, спрятала лицо и опять разразилась рыданиями.

«Что ж это — она гонит меня...» теряясь думал он. «Но ведь я... не могу уйти». — Давай поговорим, Люба, — совсем по-другому сказал он, глядя, как сотрясаются ее плечи. Из-под волос у нее выбилось ушко. Она плакала, но ушко совсем не принимало участия в плаче, в его мягких и розовых складках было что-то наивно и хитровато-веселенькое, в нем была особенная, только Любе присущая черточка прелести, и, сам не сознавая, он склонился, и Люба ощутила, как нежно дрожат его губы на ее ухе. «Он не уходит», подумала Люба. «Что же это... значит, он любит меня. Даже такую».

— Ты совсем не жалеешь меня, уйди... — сказала она, и эти жалкие слова разом всколыхнули его всего до самой глубины, и, чувствуя, как горят его глаза,

почти плача, он привлек ее к себе. — Жалею, жалею. . . — повторял он, — не гони меня, Любочка, жалею. . . — И, чувствуя его горячие и веселые губы, она переставала плакать. Это было то, что давно ей было нужно, чего она так давно не имела. И вместе с тем она продолжала напряженно думать. «Значит, я его люблю. Но любит ли он меня, этот вот такой молодой и веселый? Ведь он может обидеть». И, точно отвечая на ее мысль, Володя поднял свое раздумавшееся лицо с блестящими и счастливыми глазами и сказал: — Ты, Люба, сейчас же ко мне переедешь, пока в одной комнате проживем, а я похлопочу нам форменную квартиру в две-три комнаты.

Эти слова, казалось, сделали его еще привлекательнее, и она, пудря после плача лицо, искоса взглянула на него сияюще-голубым, ласковым, но все еще немного настороженным взглядом.

— Это невозможно сейчас квартиру достать. . . — сказала она вздохнув.

— Невозможно? Обязательно достану, — сказал он самоуверенно, заметив, что она любит его. — Я, Любанька, весь прошлый год был практикантом на одной текстильной фабрике, но там мне такое уважение, такое уважение — я и записался членом жилищной кооперации — на всякий случай. Они мне уже в прошлом году предлагали квартиру поближе к фабрике, потому что я тогда буду им больше времени уделять и вообще связь теснее. . .

Ей очень нравилось все, что он говорит. Эти слова, такие правильные, такие понятные, точно ярко освещали его. И она уже рассматривала его с тем знающим любопытством, какого у нее раньше не было. То

нужное, что ей нравилось, было одно и то же и в Володе и в Степане Григорьиче, это было соединение силы и веселого лукавства. Но в Степане Григорьиче эти свойства были досадно непонятны, в них был какой-то тонкий обман, а в Володе эти свойства направлялись туда, куда они и должны были направляться. «Нет, этот не эгоист, он заботливый такой», думала она, отмечая и стройность и крепкость его ног, и тонкий пояс, и легкость шагов. «Молодой, — а тот старый и неверный. И что я раба всем им?» отчужденно подумала она разом и о Степане Григорьиче, и о Борисе, и о Вальке. . . Семейственный мирок, за который она так боролась, сейчас разом развеялся и превратился в туман перед горячей подлинностью того нового счастья, которое наступало.

«Ну, и пусть тот приедет, а меня уже не будет. . . А ребенка — он захочет увидеть и пусть тогда попросит», и она почувствовала горячую и удовлетворенную злобу, словно увидела то слабое место Степана Григорьича, по которому в нужный момент ударит.

— Как же, Володя, я вдруг навяжусь на шею тебе с ребенком? — говорит она, вздохнув и опуская глаза, хотя про себя уже все решила.

— С ребенком? — спросил Володя. Он еще как-то не представлял, в чем это выразится, что она будет с ребенком. Но это будет что-то лишнее, оскорбительно-напоминающее.

— А аборт, Любаша, нельзя? — спросил он, понизив голос.

— Поздно. . . — она опустила глаза и покраснела. — Да и знаешь. Если б можно было бы. . . не знаю, я уже очень привязана к нему, видишь. . . — Она указала на

свое вязанье, которое он сначала принял за рукавицу и которое было кофточкой, такой маленькой, что ее невозможно было представить надетой на человеческое существо. — Я его очень любить буду. . . — сказала она виновато и в то же время с вызовом взглянула на него. И достаточно было этого взгляда, чтобы он сразу сказал поспешно:

— Стало быть, я его как сына, как своего сына любить буду. . . так же, как ты, Любанька, — и он опять ощутил удовольствие от щедрой своей доброты. Он сел около Любы, и она сама потянулась к нему и благодарно поцеловала его в щеку. Он обнял ее, она подвинулась, и он сел рядом с ней. Сейчас он сделал главное, он добился этой женщины. И он был счастлив, что получил ее, беременную от другого, подурневшую, — он принимал сейчас, как счастье, ее, которую он не ценил, когда она была в расцвете девичьей прелести и шла к нему. . .

— Так как у тебя со Степаном Григорьичем получилось? — спросил он.

— Да так. . . — Люба рассказывала, искоса взглядывая на него, краснея и глядя его рукой. Ей казалось, что она рассказывает все, как было, но, прослушав ее рассказ, Володя сказал, вздохнув:

— Скажи, пожалуйста, старый большевик, а так. . . улестил. . . — В его голосе были нотки восхищения. И он добавил уже другим, осуждающим тоном: — Тянуть их, старых чертей, за такие дела надо.

— И ведь я, Володя, для детей, ведь сироты, ведь я же им как мать была, ну и вот. . . — Она опять заплакала, но слезы были легкие — и приятно было плакать,

чувствуя, как он утешая гладит ее плечи тяжелой и сильной рукой.

Вдруг дверь отворилась, вошел Валька, и они отстранились друг от друга.

— Ну... Я, Любаша, зайду, и договоримся конкретно, — сказал Володя, счастливо улыбаясь и крепко пожимая ее руку. Валька пристально смотрел на них. Что-то в положении Любы и Володи походило на то, что было в отце и Любе, когда они стояли обнявшись. Но тогда — это было радостное, нужное и правильное, а то, что сейчас, было чуждо, беспокойно и внушало нехорошую холодненькую тревогу.

24

Невидимый за соснами, хлещет о дерево топор. Через ровные промежутки времени он замолкает, и тогда вперед выступают другие звуки — то вдруг поблизости за палатками возникнет звонкоголосый ребяческий разговор, разразится смехом или спадет в неясный ропот, затихнет, и тогда уже из отдаления, за шумом леса, за мерным колыханьем сосен вокруг большой поляны, на которой встали грязно-травянистые палатки пионерского лагеря, становятся слышны переклички и ауканье. У самой опушки леса — палатка Бориса Шорохова, сам он лежит на животе, прищурясь глядит на поляну и слушает то, что ему горячо говорит румяный и чернявый мальчик, на широком лице которого особенно выделяются свежим блеском упрямо карие глаза да носик, маленький, непомерно короткий, бледный — такой словно его совсем нет.

— ... Колосов — это язва отряда. И если мы с та-

кими язвами будем соглашаться... — говорит он, пригибаясь и заглядывая в лицо Бори.

— Но ведь твои заметки, Минька, на него не действуют. Вот ты третью написал, и Петька тебя обязательно поколотит.

— Пусть, — даже с каким-то восторгом сказал Минька. — Ведь кулаки убивают рабкоров. Или пусть он исправится, или его надо исключить из отряда... А ты вот спроси Соню и Лизу, как он их хватал... — спадая на секретный шопот, говорил мальчик, опять пригибаясь к лицу Бори. И Боря, скосив взгляд, видит пухлую, еще детскую коленку мальчика, в розово-загоревшую кожу которой влипли песчинки.

— Ты, Минька... папу и маму своих любишь? — спросил вдруг Борис.

Минька помолчал. Сегодня Боря Шорохов как-то непонятен. Он, один из лучших ребят в отряде, заступается за хулигана Петьку Колосова. И к чему еще этот вопрос?

— Да, люблю, — отвечает он. «Может пионеру нехорошо любить папу и маму?» спрашивает он себя, представляя под пионером не себя и не кого-либо из ребят, а идеального мальчика, у которого нет лица, а есть только костюм с галстуком. — Я, конечно, Ленина больше папы и мамы люблю, — добавляет он от лица этого образцового безликого пионера. — Так как моя заметка, Боря? — возвращается он к разговору.

— Заметка... — задумчиво повторил Борис. — Но вот, Гуськов, ты пишешь — язва отряда, а ты думал, кто виноват в этом. Ты, Минька, ни о чем этом не думаешь и ничего не понимаешь... — горячо, убежденным и тихим голосом сказал Борис. Гуськов, самолюбиво

краснея и сбивая с пухлых с ямочками коленок вьёв-
шиеся песчинки и иглы хвои, встал, оставляя после
себя примятую траву, которая тут же стала распрям-
ляться.

— Ты верно думаешь, я для трепатни спросил про
твоих папу и маму... — сказал Борис, подняв спо-
койные, темные глаза на мальчика, который стоял
около, готовый отчужденно и обиженно уйти, и только
тоненькая нить интереса к тому, что сейчас скажет
Борис, удерживала его, но он в любой момент гото. был
ее порвать. — И ты еще сам не знаешь, как своих
папу и маму любишь... — продолжал Борис возбу-
жденно и даже разом гибко изменил положение и сел,
опираясь в песок худенькой и крепкой, смутлой ру-
кой. — И вот ты их любишь, обоих вместе любишь, и,
скажем, твой папа полюбит другую, и начнется у вас в
семье ужасный шум и несчастье, и ты подумай, Гусь-
ков, — у тебя в результате второй папа, или вторая
мама... и вот Колосов...

— Что ты ко мне привязался с этими гадостями
старого быта? — крикнул Минька. — Мои папа и мама
не какие-нибудь сволочи, чтоб так делать. Ты вот,
Шорохов, начинаешь уклоняться и за Петьку выска-
зываешься и насчет Ленина тоже... А заметку вы
все-таки напечатаете!

И он, широко шагая и размахивая руками, очевидно,
подражая кому-то из взрослых, ушел, не дослушав то,
что Борис хотел сказать, и Борис усмехнулся вслед,
глядя, как смешно отдуваются штанишки на его пухлом
заде балованного мальчонки. Ведь Борис насквозь пони-
мал Гуськова: подлинным, неигрушечным чувством для
него была любовь к отцу и матери, счастливая вера, что

их отношение — неизменно, и это было основой его жизни. Ведь и для Бориса было раньше так.

Лагерь оживал. Со стороны кухни потянуло смолистым дымом. Борис видел ребят, которые, поглощенные каким-то спором, пронесли ведра с кашей и картофелем. Топор продолжал размеренно хляскать, но теперь его заглушала нарастающая веселая разноголосица. Из-за деревьев медленно вышла Берта. Она шла неторопливо и даже вяло, по временам останавливаясь, и Борис посмотрел на то место, где сидел Гуськов, примятая им трава сейчас продолжала распрямляться, медленными мягкими толчками. Это походило на то, как шла Берта. Примятая трава совсем выпрямилась, и Берта остановилась и с растерянной улыбкой, посветлевшими прозрачными глазами стала смотреть на солнце, на деревья, на то, как по лагерю большими зелеными муравьями снуют ребята. «Она радуется...» подумал Борис, постигая ее чувство, так точно она бы ему сказала об этом, хотя с переезда в лагерь Берта точно избегала его. «Вот сейчас она радуется по-настоящему, и совсем не так, как она смеется вместе со всеми... над собой, что хуже всех бегает в перегонки». И, точно бы Берта ему о чем-то напомнила, Борис оглянулся кругом, увидел солнце в траве — оно дрожало светом и тенью, и эта дрожь была как смех, а над вершинами сосен в высоком голубом мерцании летела птица, и разрозненные голоса ребят дрожали жизнью всего лагеря и вместе сливались с солнечной жизнью вокруг, и впервые обостренное сознание счастья — новое тревожное состояние, ранее не испытанное, охватило его. И он вскочил и, чувствуя treпещущее и радостное напряжение своих сухих и горя-

чих мышц, оглянул прекрасный мир кругом... Он увидел, что около турника спиной к нему стоит Петька Колосов, и разом у Бориса вспыхнул шаловливый план, — он разбежался, прыгнул, заскочил на спину Петьке, который тут же от неожиданности упал — но Борис уже успел ухватиться за гладкий металл турника, и сразу поляна, палатки, лес, небо — все закачалось вокруг него в такт быстрым сокращениям его веселых мышц, и гладкий металл турника потеплел под его ладонями, под сгибами его сильных коленей.

— Во, сумасшедший чорт! — восхищенно сказал Петька, который упав лег под самый турник и наблюдал за Борисом. — Здорово ты натренировался... — добавил он, когда Борис, превратив свою веселую энергию в приятную усталость, прыгнул вниз и, обтирая пот, тоже лег подле турника. По ассоциации они завели веселый разговор о последних футбольных состязаниях.

— Боря, ты сегодня вечером занят?

Увлеченные разговором ребята не заметили, как подошла Берта. Борис видел ее непривыкшие к свежему воздуху комнатные ноги, сильно, до крови, покусанные комарами. Он обрадовался тому, что она после долгого перерыва с ним заговорила, и даже смутился немного.

— Нет, я свободен.

— Тогда я попрошу тебя о чем... Поедем со мной к маме сейчас.

— Сейчас? Хорошо, — сказал он, вскакивая.

— Нет, ты подожди — заторопилась Берта. — Я сейчас обуюсь.

И, некрасиво покачиваясь и иногда размахивая рукой, она, не привыкшая ходить босиком, боязливо сту-

пала по земле, усыпанной иглами хвои и мелкой галькой, уходила от них.

— Она что, маруха твоя? — спросил Петька, игриво толкая Бориса в бок, морща короткий нос и щуря зеленый глаз.

Эти слова были грязны и противны и как будто целиком подтвердили то, что говорил Гуськов о Колосове. Но Борис помолчал, равнодушно кусал травинку и ответил спокойно:

— Нет, я дружу с ней.

— А, — протянул Петька. Он видимо вполне допускал, что с девочкой можно дружить, и это обрадовало Бориса.

— Знаешь, Петька, — сказал Борис помолчав, — о тебе, верно, скоро вопрос поставят на собрании. Ты девочек трогаешь...

— Это тебе Гуськов сказал? — спросил Петька, не поднимая рыжей головы. — Я этому сопливому писателю рожу растворожу...

— Кто бы ни сказал, но это нехорошо...

— А откуда это известно, что нехорошо? Ведь я вижу, как большие... Да и девчонки... Лизка визжит, а я знаю, ей нравится, — сказал Петька, вздохнул, облизнулся. И от этих слов, словно тяжелый и горький яд растекся по всему живому — все померкло в глазах Бориса, и он с жалостью и тоской посмотрел на милый с детства, забавный, курносый профиль Петьки, на рыжеватый пух, золотящийся над его детской припухлой губой. «Ведь у него усы будут...» вдруг подумал он и провел пальцем по своей губе. Он ощутил слабую щекотку нежнейших волосков и почувствовал

страх и неопределенную гордость — новые какие-то чувства.

— Я, Бориска, в беспризорные скоро подамся, — неожиданно сказал Петька. — Вали со мной, а? Ты мальчонка фатовый, ну что тебе здесь?

— Что ты, Петька? — испуганно-изумленно сказал Борис. — Это из отряда?

— Ну, что отряд... — И Петька, злобно оскалившись, сел. — Всякий маменькин... вроде Гуськова шпионит за тобой, сволочь, дружбы никакой, скука... а ведь там — какие ребята! Отчаянные, вот... — И он оттопырил свой большой палец и заодно поставил его перед Борисом. — Ездют из конца в конец России, все видят, сами себе пищу добывают... А дружба какая — все за одного, и один за всех! Настоящая жизнь!

— Да как же, Петя? Ну, а отец... мать, — спросил Борис с запинкой.

— Отец... — Петька оскалился, и его лицо стало грустным и злобным... — Отец и думать обо мне забыл. Он со своей новой шмарой переехал в Питер, и дома у нас теперь такая скука... мамаша плачет, человек она — ну, как бы сказать, и необразованный и старый... Жалко, понятно, жалко... — добавил Петька тихо. Борис слушал, крепко вцепившись в траву. У него еще не было слов, но это, что говорил Петька, это была нахмурившаяся жизнь, грозная, тяжелая и серьезная. И у него не было слов — но он вспомнил, как блистала и снова пропадала в дыли звонкая медь оркестра, как влились они, уставшие, запыленные, мучимые жаждой, в Красную площадь, по который разнообразно и стройно шли под красными полотнами пестрые колонны, сияющие прищуренными

лицами... И гуденье аэроплана над площадью, и забывающее себя чувство, заставляющее умерить шаг и ровняться с товарищами, и с хрипом сказанные слова оратора с трибуны: «Сейчас и в Риме, и в Калькутте, и на всем свете...» Эти слова разом и вдруг объяли все, оркестр грозно выдохнул Интернационал, дальше ничего не было слышно — и не надо было слышать, — Борис кричал ура, и рядом с ним кричал ура Петька.

И Борис взглянул на Петьку, тот, притихнув и полузакрыв глаза, тихонько и нежно свистит что-то жалобное и беспечное... И Борис сразу и уверенно подумал, что пионерский отряд именно для таких вот как Петя, обыкновенных ребят с плохой жизнью, и эта мысль была окрашена бережной любовью, с которой Борис, сам неспособный к музыке, относился к Пете. И эти слова о Риме и Калькутте — надо было опять напомнить ему, но как-то по-другому, чем они были сказаны тогда.

— Ну идем, Боря... — Берта, уже обувшаяся, с аккуратно причесанными височками, стояла около Бориса.

— До свидания, Петя, — ласково и нежно сказал Борис. — Я вечером приеду, и мы еще поговорим.

Борис и Берта молча прошли через лес и вступили в шумный дачный поселок. Вокруг было много детей. Пухлая, беленькая девочка лет семи-восьми, в костюме — маленьком подобии костюма взрослой дамы, жеманно сидела на колене у носатого молодого человека в шотландских клетчатых чулках. Занятый разговором с молодой женщиной, очевидно, матерью этой девочки, он качал девочку на колене и гладил грубой и грязноватой рукой ее голое пухленькое плечико. Бо-

рис не слышал, о чем разговор, но ответ того низменного веселья, которое было на лицах взрослых, было и на лице девочки. Вокруг большой кучи песку, на скамейках сидели няни, чудовищные пухлые старухи с лицами ведьм, добродушные румяные толстухи с жирными грудями и животами, веселые жеманные девчонки. Разноцветная кучка детворы играла на песке, и эта дремлющая, монотонно гудящая свора нянек, казалось бы, достаточная для того, чтобы конвоировать отряд преступников, показалась Борису совсем излишней при детях, которые играли сами и нуждались в присмотре не более как трех человек. Борис сделал маленький крюк и прошел мимо детей, и ему бросилось в глаза, что они одеты разное, одни богаче, другие беднее. В стороне же возился в песке тихий и смугленький мальчонка, в женской кофте, засученной у рукавов и волочащейся по земле. И у Бориса жалостью и негодованием содрогнулось сердце: слишком тих, по сравнению с прочими веселыми детьми, был этот черноглазый ребенок. «Ему уже плохо, он уже отщепенец...» И Борис вдруг и как-то по-новому подумал о том, что Петька хочет уйти к беспризорным, пожалуй и правда, у них по-своему — лучше...

Погруженный в эти горячие мысли Борис не думал о Берте. Она сама купила билеты, и только, когда они сели в вагон, и поезд тронулся и мимо окна задвигались красные и высокие стволы сосен, Берта вдруг сказала виновато и тоненько:

— Послушай, Боря, ты на меня сердишься, что я с тобой не говорю?

— А... — Борис взглянул на нее непонимающими, углубленными во что-то свое, глазами.

«Какой он хороший», подумала Берта. «И он, конечно, не сердится на меня, он даже не заметил, верно, что я с ним не бываю», подумала она с обидой.

— Что ты со мной не говоришь? — переспросил Борис. — Нет, Берточка, — сказал он с таким оттенком горячей ласковости, точно они относились не только к ней, но еще к кому-то... — ведь тебе хорошо в отряде?

— Очень хорошо... — тихо сказала Берта. — Но, знаешь, раньше я думала, что только мне плохо, а все остальные дети веселые... — она запнулась.

— Ну? — с жадным интересом спросил Борис.

— Видишь ли, Боря, они, конечно, веселее меня... но у каждого свое горе.

— И это горе — дома, правда? — сказал Борис.

— Да... — Она помолчала. — Со мной получилось, как в лес идешь. Издали — лес что-то одно, а войдешь — видишь деревья и каждое на свой лад.

— А-а-а? — протянул Борис, не совсем поняв о чем речь.

— Очень хорошо жить, — сказала Берта тихо. — Очень. — И она вдруг взглянула ему в лицо тем особенным посветлевшим взглядом, который Борис столько раз уже замечал. Но раньше он замечал этот взгляд со стороны, и, как только кто-нибудь подходил к ней, Берта сейчас же прикрывала его обычной, темно-карей и виноватой грустью. А сейчас она позволила Борису смотреть в посветлевшую спокойную глубину своих глаз, и Борис первый отвел взгляд, он обрадовался и испугался. «Что ж, может быть, между нами и есть это самое... что говорил Петька и что у папы с Любой». Он взглянул на Берту, как она, подперев голову белой

рукой, таким же светлым взглядом смотрела в окно. «Нет...» внятно сказал он. «Это совсем не то. Это то, что есть и с Петькой, но там — как-то по другому. Это хорошо... вообще все так хорошо и отлично», подумал он, оглянув сотрясающийся в движении чистый вагон и дачных людей с портфелями и узелками.

— А знаешь, Берта, почему ты бегаешь плохо? — спросил вдруг Борис, отодвигая то важное, что связывало их, но о чем трудно было говорить. И у них завязался быстрый разговор, который не прекращался, пока они пешком шли до центра.

— Вот здесь мы живем... — сказал Борис, указывая на Дом Советов. — Зайдем, Берта, на минуту к нам, а потом уже к твоей маме и прямо в лагерь... — Не прекращая веселого разговора, они прошли по сумрачным коридорам и лестницам и такими вот веселыми стояли перед Валькой, который скучно мусолил химический карандаш, сидя на кресле возле окна.

— Ты что, Валя, — спросил Борис, заметив тревожную угнетенность на пухлом лице Вальки, как-то даже не приспособленном для таких чувств.

— Ничего. — И Валька посмотрел в сторону комнаты Степана Григорьича, откуда доносились приглушенные голоса и смех. Борис шагнул в сторону двери.

— Не надо, не ходи туда... — поспешно сказал Валька. — Там Люба... с Володей.

— С каким Володей? — недоуменно спросил Борис. — А где папа? — Но Валька не успел ответить, как Люба и Володя, оживленные, продолжая веселый

разговор, вышли из комнаты Степана Григорыча. Они разом замолчали. Люба нахмурилась. Володя и Борис — они сейчас были вместе здесь, в этой комнате, где они порознь, в разное время и при разных обстоятельствах крикнули ей то оскорбительное и унижительное слово. Но она даже и не подумала о Володе, весь свой оскорбленный гнев направляя против Бориса.

Борис же с отвращением отметил, что Люба стала как-то ниже и шире и что-то бесстыдно одеревяненное было в ее румянном лице. То, что она была вместе с человеком, который первый обругал ее этим словом, словно подтверждало правильность этого слова в отношении Любы. Еле заметная, мимолетная усмешка прошла по лицу Бориса, и по ней Люба смутно догадалась об этом ряде быстрых мыслей, и еще гневнее свела брови.

— Где папа? — спросил Борис спокойно, без всякого выражения.

— Уехал... — раздраженно и отрывисто сказала Люба и повернулась к нему спиной.

— Куда уехал? — спросил Борис еще холоднее и спокойнее, как бы показывая этим, что он оставляет без внимания раздражение в ее голосе.

— Отстань от меня! — крикнула Люба через плечо — это, о чем спрашивал Борис, еще болело и унижало, и ей казалось, что он поэтому нарочно спрашивает.

Борис сразу весь напрягся от этого несправедливого грубого окрика. Он не желал принимать в расчет то, что происходило у Любы с отцом и Володей, хотя с ужасом и отвращением к ним ко всем — «к взрос-

лым» — об этом догадывался. Но это его не касалось. Он был в праве узнать, где отец.

— Я прошу тебя ответить, где папа, — спокойно и напряженно спросил он.

Вся злоба и обида, которая у Любы накопилась на Степана Григорьича, сейчас разом хлынула против этого тоненького мальчонки с глазами понимающими и злыми, которого она все время ощущала как врага. Он ей напоминал Степана Григорьича и Наташу вместе — ненавистный и непреодолимый строй отношений. «И девчонка какая-то», — гневно подумала она о Берте. «И он при ней издевается надо мной».

— Противный, злой чертенок! — искажаясь и становясь страшной и безобразной, крикнула Люба. — Папа? Твой папа — обманщик, вот! Он обманул меня и уехал, убежал — трус! Ну, да ладно.

Борис спокойно смотрел на ее подергивающееся, пылающее злобой лицо. Чем громче кричала она, тем выше в отношении ее он чувствовал себя, тем спокойнее он становился. Но вдруг Бёрта сильно дернула его за рукав и указала ему — в стороне от всего этого, в уголку кресла, весь сбившись в комочек, словно под ударами ужасных слов Любы, тихо плакал Валька. И Борис, до этого становившийся с каждым мигом все холоднее и суше, вдруг разом вспыхнул горячим чувством, он кинулся к Вальке, он обнял его, он сделал то, что, из суровой и целомудренной мальчишеской стыдливости, никогда не делал, он поцеловал его...

— Перестань, ты! — крикнул он Любе, и так повелителен был его звонкий голос, так неожиданно Люба увидела его — утешающим Вальку, что она разом замолчала и, задыхаясь от волнения, опустилась на стул.

— Ну, Любаша, — ласково и укоризненно сказал Володя, глядя ее руку. — Тише, тише. . .

— Я и Валька мы не хотим знать, что там у тебя. . . с папой и с этим товарищем. . . — задыхаясь и все же стараясь выдержать ровный тон, сказал Борис. — Это взрослые ваши дела. . . Не плачь, Валька, не плачь. — И Борис почувствовал, как спазматически дрожит Валька. Люба неслышно пробормотала что-то. Она понимала, что этот ненавистный ей мальчишка как-то перекрыл ее тем, что сейчас утешал Вальку. И эти двое ребят, которых она так любила, когда чувствовала себя сосредоточием ее — сейчас развеившегося мирка, напоминали ей весь несправедливый обман Степана Григорьича.

— Обманул, а потом знать не хочу. . . — рокоочущим, задыхающимся шопотом сказала она, точно перед ней был не Борис, а Степан Григорьич. — Уйду от вас, змееныши. И чего я с вами нянчилась?

— Люша! — конвульсивно содрогаясь, крикнул Валька, но Борис нежно и повелительно прижал его голову к себе и заглушил его рыдание.

— Уходи скорей, — сказал он холодно и спокойно.

— Так я завтра за твоими вещами зайду. . . — сказал Володя, обрадованный тем, что Люба, все время колебавшаяся, переезжать ей или нет, сейчас разом решилась. — Идем-ка, проводи меня, — и успокоись. . . и сговоримся. — Он говорил ласково и повелительно и помог ей встать и накинуть пальто. Они ушли. . .

Минуту в комнате было молчание. — Люшенька. . . — спазматически и с надрывом всхлипывал Валька.

— Я думала. . . я считала, ты оттого такой хоро-

ший, Боря, что у тебя совсем по-другому, чем у меня и других детей, — дрожащим голосом сказала Берта... — Но что ж это такое? Тебе тоже плохо.

— Нам всем маленьким плохо! — сказал Борис с горячим иступлением. — Нам всем плохо! Большие... они не умеют обращаться с нами! И ты не плачь, Валец, — добавил он, вдруг вспыхнув бодрой и веселой ласковостью. — Мы тебя возьмем в лагерь, там нет таких сук, — сказал он, грозно хмурясь в сторону двери.

Берта наклонилась и поцеловала Вальку в похолодевшую мокрую щеку, и, ощутив в этом поцелуе то нежное и материнское, что ему было нужно, он весь разом затрясся, задрожал, обильно и легко заплакав, и приник к ней.

— Все по-другому надо! — И Борис добавил к тому, что сейчас случилось в этой комнате, весь сегодняшний день. — Нам нужно жить самим, нам детям... Вот есть такое Детское Село, которое советская власть отдала детям, там только детские дома, — выговорил он вслух свою выдумку, которая ему казалась правдой. — Там царь жил, а теперь только дети и немного учителей и воспитателей, — возбужденно говорил он, представляя себе белые дворцы в зелени, сверкающие залы, водопады и фонтаны и среди всего этого — грандиозные игры тысяч детей без нянек, под наблюдением каких-то умных людей, и свобода от взрослых, от всех этих пап и мам...

— И надо добиваться, чтоб при каждом городе, везде, были такие детские села, и мы добьемся этого, ребята! — говорил Борис, сжимая маленький смуглый кулачок и потрясая им над своей головой и пред-

ставляя, как он, Борис Шорохов, борется за это блестящее чистотой будущее, борется и строит, как тот инженер, который строил тоннель под океаном, как боролся за Советскую власть и ее строил Ленин. И в этом его чувстве было то — о Риме и Калькутте, что он сегодня вспомнил, и широкая мечта о себе как с вожде мировой революции. Но если об этой мечте недопустимо стыдно было сказать кому-нибудь, то эти мысли о детских городах хотелось говорить всем людям.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

25

Поезд подходил к станции. Шорохов стоял на площадке вагона и сразу в туземной толпе признал Ольгу, — она была так же до черноты смугла, как и все, но лицо ее выделялось принужденной и молчаливой сдержанностью. Они уже целовались, они говорили обычные при встрече слова, и, слегка сутулясь, она вела его через вокзал, одноэтажный, беленый, крытый черепицей, похожий на уродливо-длинную украинскую хату. Остро пахло дезинфекцией, плакаты грозно предостерегали против холеры, люди в одеждах, непомерно мешковатых или слишком легких, почти не прикрывающих смуглого тела, смотрели приниженно и отчужденно. Среди этих людей Ольга шла, как бы не замечая их, она взяла из рук Шорохова чемодан и сама поставила его в машину, она сказала шоферу несколько повелительных слов и прежде села сама, а потом указала ему место рядом с собой. Она совсем не была той девочкой, которую он ожидал здесь встретить и которая в его внутреннем мире воплощала еще не отделившееся от

него и потому туманное и прекрасное будущее. А она была уже настоящее — отделившееся от него и действующее независимо, и только когда машина пошла и Ольга, откинувшись на подушки, улыбнулась, неожиданно и свежо, как улыбалась Наташа, — он наново, как свою дочь, принял ее.

— Что это, Оленька... ты похудела, да и какая-то совсем большая стала, — сказал он взволнованно и смущенно, отмечая этими словами то, что у ней четко обозначилась на носу тонкая горбинка, и губы, опущенные еле заметно темным, приобрели какой-то новый склад, сдержанный и страстный, а в углах глаз показались еле заметные морщинки. Она ласково припала к его плечу, но через миг отстранилась.

— Значит, к нам порядки наводить приехал? — спросила она. Машина, жадно поглощая каменную ленту новенького, еще не утрамбованного шоссе, быстро и ровно несла их между бело-желтых, ослепляющих песков и вязкой яркой зеленью, в которой влажно поблескивали оросительные каналы.

— Да, осрамился я, что прислал вам этого Горлина... — ответил Шорохов, в тон Ольгиным словам, которые казались ему шутливыми.

— Почему же осрамился? — спросила Ольга, пощипывая нитки из разлезающей обивки автомобильных подушек, и принужденную ровность услышал Степан Григорыч в ее голосе. И он сказал немного растерянно:

— Почему? Ну вот... хотя бы исключение Селима...

— А что же делать, папа? — И Ольга свела темные брови так же, как Наташа, как Люба и Борис. — В дис-

куссионном клубе по докладу Игнаши Селим выступил и заявил, что он в бога не верит, а в бессмертие души верит, и берется это доказать чуть ли не Плехановым и пошел нести такую ахинею. Игнаша потребовал на бюро парткома, чтоб Селим отказался от своих взглядов. А Селим на общем собрании работников просвещения сделал доклад и опять защищал свои оригинальные теории, — и Ольга горячей насмешкой выделила последние два слова. — И тогда Игнаша...

— Постой, что за Игнаша?.. — спросил Степан Григорыч.

— Это Горлин... — разом сказала Ольга.

«Вот оно что...» ошеломленно подумал Шорохов обо всем том новом, что было в Ольге. На ряду с досадливым недоумением он испытывал странную и тайную симпатию к Горлину. «А ведь это, пожалуй, правильно, что они сошлись...» Он взял Ольгу за локоть.

— Что ж, Олик, — назвал он ее ласковым детским именем. — Выходит, ты с ним...

— Да, я его жена теперь, — сказала Ольга и, высвободив локоть, быстро взглянула на Степана Григорыча, и он в тихом взгляде узнал то же, что было в яростном шуме Любиного гнева:

— С тех пор, как ты уехал, папа, — горячо говорила она, — я здесь не видела ни одного настоящего большевика. Он — первый. Ведь марксизм для него — все. И я свою работу по-новому поняла... — говорила она голосом низким и нежным и как бы предостерегающим...

«Это Наташа обо мне так же говорила...» подумал Шорохов и тут же ласково отождествил себя с Гор-

линым. Но он задержал это чувство, оно казалось ему неправильным, и он спросил насмешливо:

— А вот почему он на мой вызов не приехал? — Это как с точки зрения марксизма?

И в ответ на его насмешку она сказала с горячим негодованием: — А он на твой вызов имеет право не приезжать. Он прибыл согласно распоряжения секретариата ЦК...

— Ах, Ольга... — насмешливо и грустно сказал Степан Григорыч. — Не надо ему было со мной становиться на формальную ногу и увиливать от разговора. Секретариат ЦК... ну так вот я и имею сейчас полномочия от секретариата ЦК отправить его в Москву.

— Очень хорошо — Игнашу усадить, а Селима оставить здесь руководителем организаций? А вот Селим бежал к басмачам. И мне отвратительна эта авантюристическая сволочь, которую мы вербуем здесь в партию вместо пролетариев...

— Что это ты говоришь? — спросил Шорохов, вслушиваясь в опасную и болезненную страстность ее слов и вспоминая, как Ольга вела его к автомобилю и как раступалась перед ней толпа. Что-то во всем этом было тревожное и опасное и связанное с целью его приезда. — Кого мы вербуем в партию? Говори конкретно.

— А вот таких, вроде Селима. Или Айвазов, разбойник на службе пролетарской революции, — с ненавистью и насмешкой сказала она.

«Так вот оно что», подумал Степан Григорыч, вспоминая, как в прошлый его приезд Ольга, прикрываясь беспечной веселостью, мучительно и самолюбиво переживала разрыв с Айвазовым — первым своим мужем.

И Шорохов весь насторожился — это был тот же внутренний, неуловимый, но явственный Эйдкуненский обман, который сейчас охватывал всю его жизнь. И, как бы уходя от всего этого, он спросил:

— Куда ты везешь меня, Олюшка?

Впереди уже показался город. Под небом густым и синим до грозной лиловатости он ослепительно мерцал белыми зданиями и быстро рос навстречу.

— В дом Советов... — глухо ответила Ольга. — Тебе там комната приготовлена... И мы там живем с Игнашей... — добавила она неуверенно, словно бы не зная, следует ли это говорить.

Горлина не было дома, и, оставив чемодан, Степан Григорыч сразу поехал в партийный комитет, и Горлин спокойно встал ему навстречу из-за своего широкого письменного стола. Он говорил, что не мог приехать на вызов вследствие перегрузки, и старался все время смотреть в глаза, и взгляд его был спокоен и независим. Он был смел и совсем не хитер.

Но Шорохов был насквозь пропитан той особенной, совсем не личной, широкой хитростью, которая выработалась за долгую политическую деятельность. И не пугая Горлина теми директивами ЦК, которые у него были, Шорохов хитро дал полную волю своей искренней симпатии к нему, он говорил так, словно бы приехал разузнать только, как тот работает и в чем история с Селимом.

— Парень с ревизионистскими замашками. Типичный люмпен... — сказал Горлин о Селиме. — Таких мы не можем считать членами партии. — Он сказал без всякой злобы, и Шорохов промолчал. Это определение Селима было довольно правильно, но только в том слу-

чае, если брать Селима вне связи со всей этой страной. И у Шорохова вновь возникло смутное, но уверенное уподобление Эйдкунена и Горлина, и сразу же против него поднялась беспокойная тревога.

Домой из партийного комитета шли вместе. Горлин говорил о природных богатствах края, о будущих электростанциях, об огромных пространствах хлопковых плантаций, и в голосе его было сильное и настойчивое вдохновение — но вокруг были нищие и дышащие тысячелетним горем кварталы, и грязные базары, и тонкие минареты. . . Шорохов и Горлин шли по мостикам, переброшенным через загнивающие, зацветающие оросительные каналы. Горлин однообразно жестикулировал, словно указывая на что-то, нависшее над землей в воздухе, и, заметив этот жест, Шорохов вдруг начал спрашивать его об оросительных работах, о кооперации. . . И Горлин сразу заговорил по-другому, тонко и раздраженно, и весь как-то сгорбился.

Все было плохо — в партии сплошь прохвосты и уклонисты, население — в порабощении у мулл, в хозяйстве и кооперации — бюрократизм и хищения. А Шорохов по прошлому пребыванию здесь знал — веками обманываемый, нищенствующий народ пробужден, он слепо и беспокойно шевелится, и Шорохов тревожился за эти первые неосознанные и неумелые движения, словно это был встающий на ноги ребенок.

И опять Степан Григорьич вспомнил, как, словно сквозь высокую траву, шла Ольга через толпу, и как нехорошо — приниженно и отчужденно на нее смотрели, и с какой надрывной безгловостью обругала она местных коммунистов. В Горлине все это получило свое довершение. . . «Как же я всего этого не заметил. . .»

с испугом спрашивал себя Степан Григорыч, поражаясь страшной и обидной осечке своей уже проверенной способности разбираться в людях. В этом Степан Григорыч ощутил унижительное и недопустимое влияние Эйдкунена, и стремление уничтожить это влияние дало горячий запал на все время работы Степана Григорыча в этом крае и прежде всего находило свое выражение в борьбе с Горлиным, хотя Степан Григорыч видел, что Горлин был самый честный, преданный и умный из тех партийцев, которые работали в стране, хотя Горлин давал тон беспощадной борьбе со взяточничеством, самоснабжением и карьеризмом, хотя Горлин основал в стране партийную школу, где сам вел курс исторического материализма. Но, чем больше Горлин работал, чем туже зажимал он винт своего администрирования, чистого и мертвенного, чем больше горячности вкладывал он в свои лекции, чем последовательней боролся с уклонами, которые обнаруживал его придирчивый ум, тем большее расстояние отделяло его и его друзей от многомиллионного, обездоленного и нищенствующего народа страны. Это было то же, что в Эйдкунене, но в нем это уже было грозной опасностью. По городу под водительством мулл проходили процессии, как будто бы религиозные, но слишком уже усиливались непонятные крики, когда они шли мимо дворца, в котором работал Совнарком. В стране возникли эпидемии, неукротимые, как ливни и засухи, — в них обвиняли нечестивую власть. И английские агенты уже переходили границу.

Горлин мужественно и просто готов был погибнуть за революцию, но Степан Григорыч не стал дожидаться его гибели, которая была бы и гибелью советской

власти в крае, он выступил против Горлина на партийном собрании — и как-то очень легко и быстро, почти без всякой борьбы, как будто даже с облегчением сдался Горлин. Он должен был поехать в распоряжение ЦК, а пока получил шесть недель отпуска, и Степану Григорьичу пришлось волей-неволей направлять всю политику партии в стране, и сразу он почувствовал ту пустоту, которая окружала коммунистов.

И вот один за другим пошли дождливые зимние месяцы. Уехать нельзя было, да Степану Григорьичу и не хотелось ехать, дома была беспокойная и неправильная нескладница, и господство эйдкуненского обмана, и каждый раз, когда Степан Григорьич об этом думал, он с особенным напором начинал работать, это для него было связано с разоблачением того эйдкуненства, которое было во всей деятельности и складе мыслей Горлина. Думать о Любе было просто недосуг. И все же каждый вечер, когда он ложился спать и тушил огонь, по его телу, как приступ лихорадки, проходила память о Любе. Теперь уже он скучал по ней, не украшая ее мечтами, скучал по такой враждебной ему женщине, какая раскрылась ему в эти последние дни. Люба воплощала в себе все теплые ощущения дома, семьи, обжитых вещей и комнат, к которым он, не замечая их, привык. . . Эти ощущения обычно томили его жаркими ночами, и порой он вставал, зажигал свет хотел писать ей письмо и сразу же, как только под ярким светом лампы ложился перед ним чистый лист бумаги и полное сознание вступало в свои права, сразу же чувствовал он себя в цепи своих же, одно из другого вытекающих действий, которые привели его к отъезду из Москвы — и зеленое пятно на обоях, там, где висел портрет Наташи, снова

мерцал перед ним. Жить с ней в одной комнате, и ходить в кино, и пить вместе вечерний чай. Это все было нельзя.

Степан Григорьевич не верил, что Селим ушел к басмам. По приезде он вызвал к себе людей, которые не могли не знать, где Селим, хотя и клялись, что не знают. И Шорохов все-таки сказал им, что он хочет видеть Селима. И то, что Селим после этого не вернулся, значило, что он не хочет свидеться.

Но Селим все же вернулся. Это было в дни после похорон Ленина. Все это время Шорохова мучило какое-то деятельное и беспокойное горе — нужно было что-то начать делать гораздо больше, чем он делал до этого. Думать о Селиме не хотелось. Но Селим, загорелый и одичавший, в пестром рваном халате, одетом поверх синей, нескладно сшитой тройки, как-то неловко, боком сидел на стуле и пощипывал молодую и кудрявую рыжую бороду, скрывшую его лицо. Степан Григорьевич раздраженно порицал его: — Бессмертие души — ведь это же поповская выдумка. И ты, коммунист, морочил ею других людей. . .

Степан Григорьевич не допускал в Селиме иных мыслей и побуждений, кроме тех, которые привели его к неправильным поступкам. Он воспринимал Селима как что-то постороннее своему горю.

— Подожди, Степан. . . — перебил вдруг Селим. — Бессмертие души? Я понял пустоту и тленность этого, я понял. Бессмертие души? Но зачем же нам бессмертие? Ведь вот он — лучший человек мира, самый

высокий пророк — он лег, он молчит, он недвижим, его нет...

Степан Григорьич сразу потерял нить своей речи.

В словах Селима проявилась та же новая скорбная сила, которую в эти дни ощущал Шорохов в себе и во всех коммунистах.

— Но разве то, чему он нас учил, умерло, Селим? — совсем по-другому, мягко и тихо спросил Степан Григорьич. — Большевизм, учение Ленина — ведь оно же с нами...

— Да, я знаю... Но скажи, Степан! Вот он столько дал людям. И все-таки разве меньше пришлось принять ему смертной муки, чем любому из смертных? Когда лопались жилы его мозга, как писали доктора? А я, червь, мечтал о бессмертии своей души!

Эти слова о муке, которую пришлось испытать лучшему из людей, были, казалось бы, бесплодны и неважны в сравнении с другими, более действительными и глубокими словами, порожденными смертью Ленина. Но они окрасили собой все, что писалось и говорилось о Ленине в эти дни, и всему придали тяжесть, единство и подлинность. Однако Степан Григорьич сам не поверил своему впечатлению и, как бы испытывая Селима, спросил:

— Я слышал, ты был у басмачей?

— Я? — Селим стукнул кулаком по столу. — Прости, Степан... — сказал он и тут же, разжав кулак, как бы успокаивая себя, погладил свой крутой лоб, заросший у висков и похожий по овалу на неполную, ущербленную луну. — Вот... — сказал он, вдруг вынимая из кармана маленький, сделанный из разноцветных стеклышек значек серпа и молота. — Помнишь? — спросил он, вставал со стула и всю маленькую комнату за-

полняя торжественным голосом и мерными, в такт речи, взмахами широких рукавов своего халата — пестрого, рваного и пыльного. — Помнишь, как ты мне подарил это? — спросил он, высоко держа над собой поблескивающий значек. — И я тогда поклялся делу молота и серпа, поклялся на всю жизнь. И Горлин против закона отнял у меня звание народного комиссара, которое мне дал съезд. И они отняли у меня мою книжку коммуниста, но это вот — они не могли отнять у меня. И я спрятался, но не к басмачам, я изучал индусские наречья, я хотел уйти за Гималаи, там меня вело бы это вот: серп и молот — там у меня не спросили бы книжки, чтобы бороться за советское братство рабочих. — Серп и молот. Селим произносил эти слова с тем же безудержным и высоким фанатизмом, с каким его предки произносили слова Корана, для него это была и научная формула, и основа жизни, и изречение народной мудрости. А Степан Григорьевич подарил этот значек с веселой шуткой, совсем не придавая того глубокого значения, которое в него вкладывал Селим. Но сейчас Степан Григорьевич вдруг ново и свежо вспомнил глубокий смысл советского герба и снова вспомнил самого себя в молодости, он так же вот как Селим сейчас ощущал какие-то уже забытые лозунги на плакатах, слова в революционных песнях... Теперь так же свежо он мог относиться уже к более сложным и глубоким явлениям. Но это его настоящее выросло из прошлого, которое сейчас вставало в Селиме. А вот Горлин — он всего этого не увидел в Селиме... и они говорили, что Селим ушел к басмачам. «Пойти к ним и сказать...» подумал Степан Григорьевич о Горлине и Ольге, когда Селим уже ушел. Ему хотелось пойти, и он

колебался, хотя внешние их отношения остались хорошими, по молчаливому уговору они не говорили о политике, и Степан Григорьич в отношении себя все время ощущал постоянный холодок, он понимал, что наедине Горлин и Ольга говорят о нем и его осуждают. И то, что Селим не уходил к басмачам и сейчас вернулся, была его победа, неясная победа над Эйдкуненом, надо было эту победу довершить, и он направился в комнату Ольги и Горлина.

— Товарищи, Селим вернулся, — победительно сказал он еще с порога комнаты. Горлин и Ольга сидели на диване. Он держал ее за руку, она обняла его плечи, лица обоих были тихи и ласковы, — они говорили о чем-то своем, все это было как-то особенно сдержанно и чисто. В этой комнате на камине, рядом с причудливыми малахитовыми статуэтками, которыми ни Ольга, ни Горлин не интересовались, стоял опрятный, выложенный до блеска красноармейский котелок, на гвозде над кроватью висела винтовка, и вещевого мешок дремал в углу. «Как Ольга на Наташу похожа, да и все это точно было — было у меня с Наташей», подумал Степан Григорьич свои прежние неясные впечатления и в то же время припоминая, что с Наташей в такой тихой и уединенной комнате им жить не пришлось, но они словно бы мечтали, чтоб так жить. . .

— Вернулся? — безразлично переспросил Горлин и, отпустив руку Ольги, взялся за раскрытую книжку, как всегда лежавшую неподалеку.

— Да вернулся. . . — уже в тон ему, без прежнего оживления сказал Степан Григорьич. «Им до Селима и до всего того, что с Селимом связано — до всей страны — нет никакого интереса. . . Книжки читает»,

подумал он и тут же сдержал свою враждебность. «Ведь это ж хорошо, что читает. . .»

— Я не хочу возобновлять старых споров. И о Селиме. . . я своей точки зрения не изменю. . . — сказал Горлин, уже не поднимая глаза от книги.

— И не стоит, папа, сейчас об этом говорить. . . — особенно мягко сказала Ольга.

«Что с ней?» тревожно подумал Степан Григорьич, замечая, как что-то дрогнуло в ее лице, смелом и твердом, отчего оно стало разом нежное и доброе. И эта дрожь сразу же отразилась в глубоком вздохе.

— Опять? — спросил Горлин, быстро подняв глаза и улыбаясь.

«Она больна, верно. . . А он улыбается», удивился Щорохов.

— Да. . . — И Ольга конфузливо и ласково посмотрела на Степана Григорьича. — У нас ребенок будет. . . — тихо добавила она.

— Ребенок? — Степан Григорьич схватил Ольгу за руку. Он сразу и очень сильно обрадовался. — Ребенок. . . Ну, поздравляю, Игнаша. . . — сказал он, включая в свою радость и Горлина, высокого, чернявого, улыбающегося спокойно и дружелюбно. — Внук, значит?

— А, может, внучка? — засмеялся Горлин.

— Он девочку хочет. А я мальчика. . . мы его назовем по Владимиру Ильичу.

— Девочку тоже можно по Владимиру Ильичу. . . — ласково сказал Горлин. — Владимира вроде. . .

Этот тихий нежный разговор показывал, что Ольга и Горлин исполнены очень достойных, высоких и чистых чувств друг к другу. Но именно эта благополучная достойность была Степану Григорьичу странно неприятна. «По Ленину назвать ребенка — это, конечно,

и хорошо, но... ведь то, что Селим говорил о Ленине, и потом серп и молот — ведь это же лучше, выше... а ведь они Селима считают за азиата — «национал», вспомнил он, «какое подлое в сущности слово, а у них оно с языка не сходит, как будто они интернациональны по своей природе.

«И вот они живут в этой хорошесть, идеальности своих отношений. Что это, я отвергаю идеальность их отношений?» остановил он себя. «Они вместе обедают, вместе проводят отдых, вместе читают — все то, чего так хотела Наташа... да и я хотел раньше. А теперь что же с Наташей — я бы этого не хотел». И он со страхом и удовлетворением почувствовал, что он таких отношений не хочет. «Что же я отвергаю идеальность своих отношений с Наташей?» — еще смелее спросил он, представляя уже не те отношения, которые были у него с Наташей в прошлом, когда, по условиям подпольной работы, они не могли встречаться тогда, когда им хотелось, а те, которые сейчас вот предстали перед ним в отношениях Ольги и Горлина.

Прижавшись друг к другу, Ольга и Горлин, казалось, забыли, что он тоже в комнате.

— Мы его воспитаем, как коммуниста... правда, Игнаша? — нежно сказала Ольга.

— А, может, как коммунистку... — в тон ей, так же нежно пошутил Горлин, и оба они засмеялись. «И вот они уже ни о чем не помнят, кроме как о себе и о том, что родится от них, не помнят о Селиме и обо всей этой огромной стране, а Эйдкунен, он их одобрил бы, как он считал идеально-коммунистическими отношения Соловьева к жене. А ведь выстрел Соловьева и возник из этой вот симметричной расстановки предметов», по-

думал он еще раз, ярко вспоминая уже руки Соловьева, напряженно расставляющие предметы на письменном столе. «Да, он одобрил бы, и я тоже одобрил бы, как восхищался Горпиным, когда он сюда ехал. Это неправильно было, это было ослепление Эйдкуненом, это надо сбросить с себя», думал Степан Григорьич, торжествуя над Эйдкуненом. «И если у меня с Любой нехорошо, то ведь у них тоже отгораживание от всего мира. Мы с Наташей говорили — воспитаем девочек, как революционерок, а вот она — Люба! И у них с их ребенком может так же получиться». Это был все тот же эйдкуненский обман. Но сейчас Степан Григорьич ощутил в себе силу для борьбы с этим обманом, и впервые ему захотелось вернуться в Москву. Возвращение Селима сразу наметило перелом в настроениях местных работников, вслед за Селимом к работе подтянулись другие.

И, тут же дав телеграмму домой, Степан Григорьич выехал в Москву.

И вот день за днем мимо окна его вагона шли беспредельные пространства степей — акмолинских, тургайских, оренбургских, самарских... Серое небо, белая земля и на десятки верст — одинокая кучка огней... Опять, как перед нэпом, когда Степан Григорьич ездил по уральским заводам, страна показывала свое немое лицо, и ему заново вспоминались то одни, то другие слова из книг Владимира Ильича: только этим словам была под силу немая и страшная мощь страны, только ими можно было собрать вместе силы человеческих массивов, населяющих страну, и осуществить то небывалое, для чего сплотилась партия.

Кончились траурные газеты, и Шорохов в пути уже читал деловые номера столичных газет — замирала дис-

куссия, рос ленинский призыв, появлялась первая ранняя статья о предстоящей посевной кампании. И, поднимая от газеты глаза, взглядывая в окно, он видел одинокие человеческие поселения, грязь проселочных дорог, видел заостренную дикость, проглядывающую в лицах меняющихся спутников, вслушивался в однообразное гомогенное крестьянских разговоров и как никогда значительной, чувствовал силу врага своего дела.

И это как-то сплеталось для него с тем, что его ждало в семье, и разом же он представлял себе непоколебимое, упрямое и широкое лицо Любы на перроне вокзала и нежно и ненавидяще смотрел в окно, где проходили неподвижные и пустынные пространства. То идеальное прошлое с Наташей, чем он раньше мерил несовершенство своего брака, казалось бы, для того предстало перед ним в браке Горлина и Ольги, что он это прошлое отверг для настоящего. «Вот они живут в такой хорошесть», — думал он, разумея под они — какого-то человека, соединяющего Горлина и Эйдкунена. «У меня хотя и такая неустройка с Любой, а все же я был прав в отношении Селима, а не они. . .» И он разом и хмурился и торжествующее улыбался: в этой его правоте в деле Селима было словно укрепление его сил в борьбе с тем непонятным обманом, который запутывал его жизнь. . . Обычно общительный и веселый, Степан Григорьевич всю дорогу молчал, и в горле его скоплялась хрипота, и он прогонял ее сухим и коротким откашливанием.

Поезд останавливался, гулко сотрясаясь и наполняя влажным дымом все огромное и мрачное пространство

дебаркадера. В мятущейся, приветственной пестроте лиц неожиданно мелькнуло лицо Бориса. «Где же Люба», подумал Степан Григорыч, взволнованно и уверенно ища ее глазами возле Бориса. Целуясь с Борисом, он обнаружил, что ему для этого уже не надо пригибаться. Борис вырос сразу, словно толчком, он шел рядом и вровень, поеживаясь от холодного ветра, — на нем была коротенькая меховая курточка, из-под коротких штанов видны были его голые колени, синевато-коричневые от холода и загара. . .

— Ревматизм схватишь, — сказал Степан Григорыч.

— Нет, я натренирован. . . Вот ты горло закрой, а то после Туркестана разом продует. — Борис был спокоен, деловит и озабоченно-ласков, и у Степана Григорыча разом возникло ощущение самостоятельности и отдельности Бориса от него. Любы не было, и Степан Григорыч робел спросить о ней.

Они уже на извозчике ехали через город. Борис рассказывал, как под похоронный марш прошел он в колонном зале мимо тела Владимира Ильича, как в морозном тумане горели костры на площади, как на вечере воспоминаний плакал старый рабочий. Над городом наискось летела вьюга, мелкий и острый снег бил в лицо, у подъездов качались траурные флаги. Борис кончил говорить, и некоторое время они проехали молча, нахлобучив шапки и зарывшись в воротники. И только, когда уже подъезжали к дому, Борис сказал:

— Вот Ленин, он был такой великий — но знаешь, папа, я у него вижу одну ошибку.

— Что? — переспросил удивленно Шорохов.

— У него ничего нет от детей, — сказал Борис. —

В его сочинениях. То-есть есть, конечно, но очень мало. Стой! — сказал он извозчику, соскакивая и принимая чемодан отца. Они уже стояли у подъезда Дома Советов.

— Это, Борис, ты что-то путаешь... — говорил Степан Григорьич, идя вслед за Борисом и ощущая неясно свою вину за эти неправильные слова Бориса. — Ленин учил нас бороться за коммунизм. А коммунизм ведь это для будущего, для будущих людей. Для вас, или уже для ваших детей, для ваших внуков...

Они уже были в коридоре Дома Советов, какой-то товарищ радостно приветствовал Степана Григорьича, но Борис шел молча, и тяжелый чемодан Степана Григорьича накреньял его, тонкого и стройного, и Степан Григорьич, занятый болезненно-острыми словами сына, не обратил внимание на приветственное восклицание, догнав Бориса и, заглядывая ему в лицо, спросил:

— Так как, Боря?

Борис остановился и, переменяя руку, сказал, взглянув отцу в лицо.

— Ну вот, папа, ты — коммунист и хороший, очень хороший. А ты разве о детях думаешь? Да не об нас с Валькой... — ответил он на протестующее движение Шорохова. — Об нас ты думаешь... немного... совсем немного... — И быстрый взгляд его был снисходительно-нежен и горько сощурен. — Нет, а обо всех детях... ну, о беспризорных, например... — Боря махнул рукой, взял чемодан и пошел вперед.

Ясно припомнив беспризорного, бегущего по улице и размахивавшего руками, и чувствуя растерянный стыд, Степан Григорьич следовал за сыном. Этот стыд, это ощущение правоты Бориса против себя, было не-

понятно — ведь в его словах о Ленине была общая какая-то неправильность.

— Ты, папа, не думай, что я маленький, — сказал Борис уже перед дверью квартиры. — Я все понимаю. И я сам понимаю, что значит — коммунизм. А ты, верно, думаешь, я в отряд играть хожу.

— Нет, Борис. Но я... — начал Степан Григорьич, но Борис уже распахнул дверь.

— Вот и приехали... — сказал он с радушно-хозяйскими интонациями.

Степан Григорьич вошел, еще думая о неоконченном и таком неожиданно-серьезном разговоре с Борисом, но сразу же к нему кинулся Валька, и Степан Григорьич с пола подхватил его на руки. Это был прежний Валька — в своей зимней пушистой фуфайке. Он стал теперь тяжелее, но теплый и родной запах исходил от него.

— Папа, папа, — шептал он и, словно зарываясь с жадностью, проник под воротник пальто и, добравшись до теплой шеи отца, сразу тихо и обильно заплакал.

— Любит он тебя... — тихо сказал Борис, и Степан Григорьич отметил его странные интонации, словно Борис порицал Вальку за любовь к отцу.

— Ну что, Валек, ну что ты... — растерянно и счастливо говорил Степан Григорьич, глядя лохматую головку сына. Валька словно бы предвещал Любу, и Степан Григорьич, разом взволнованно вздрогнув, оглянулся на скрип — но в дверях его кабинета стояла черненькая девочка, она поклонилась Степану Григорьичу, застенчиво опуская ресницы на свои сильно выпуклые, грустные и внимательные карие глаза.

— Боря, мы опаздываем, — картаво сказала она.

С недоумением, все возрастающим, Степан Григорыч слушал оживленный и непонятный разговор Бориса и девочки о столярах, которые неправильно делают какие-то полки. Борис пообещал скоро вернуться и торопливо ушел вместе с черненькой девочкой. И Степан Григорыч, словно спрашивая, оглядел затихшую комнату. На окнах не было нежных газовых занавесей, чистый зимний свет шел в широкие стекла, две аккуратно застеленных белым детских кровати, карта полушарий над ними. Ведь это все было и прежде, но оно было затенено другим: зелененькой Любиной ширмой, пестротой ее рукоделья, затрепанными учебниками, красной косынкой, повешенной на ширме, разношенными уютными башмачками.

И как лицо человека, перенесшего первое взрослое горе, разнится от лица его недавней кудрявой юности, так все, что было сейчас вокруг Степана Григорыча, наивный, суровый, возвышенный и какой-то ребяческий порядок отличался от того, что в этой же комнате трепетало в сверканьи потоков воды, растекшейся по желтому линолеуму, в блеске и нежной наготе того апрельского дня, когда он вошел сюда...

Степан Григорыч снял пальто и открыл дверь в свою комнату. Она тоже изменила свой облик. Над диваном симметрично висели портреты Владимира Ильича и Наташи, оба в траурных лентах, и Степан Григорыч со странным чувством увидел яркое пятно на обоях, оно приходилось как раз между портретами, словно бы тут должно быть еще что-то повешено. «Люба ушла...» подумал Степан Григорыч и разом остановил эту мысль, словно не желая двигаться дальше.

— Это Берточка так красиво сделала, — пояснил Валька, уловив взгляд Степана Григорьича. «Берточка — эта черненькая, которая ушла с Борисом», подумал Степан Григорьич. «Уж не жена ли она Боре... хотя — что я, ведь ему только тринадцать...» перебил он себя. Но похоже, он отсутствовал сотни лет, такую неуверенность чувствовал он в этом, за несколько месяцев перестроившемся, мире.

— Это кто же — Берточка? — спросил он Вальку. — Которая здесь была?

— Да... с ней наш Боря дружит, она очень добрая такая.

— А куда они ушли сейчас?

— Они ушли в коммуну, — сказал Валька. «В какую коммуну?» хотел спросить Степан Григорьич, но Валька сам пояснил: — Это пионеры будут жить одни, без старших, это все наш Боря устроил! Они подали заявление, и Берточка говорила, что ничего не выйдет, но у них уже выходит, им дали много денег. Они сейчас все это устраивают — они и меня зовут. — Валька запнулся и стал застенчиво и грустно тереться о руку Степана Григорьича. — Но я не пойду, я по тебе скучать буду.

Степан Григорьич горячо и благодарно поцеловал Вальку в голову. Он был единственное, что сохранилось от старого уклада, и сейчас только через него мог Степан Григорьич узнать о новом, от него независимом и уже оформившемся порядке жизни, возникшем в его отсутствии.

— Почему же они хотят жить вместе? — продолжал он беседу с Валькой.

— Они хотят строить детский город, — сказал

Валька таинственным шопотом. — Где будут одни дети. Они говорят, маленьким только плохо от больших. Вот и у Берточки папа убил мужа мамы, т. е. . . — запутался Валька.

— Да, да! Я знаю это! Она в лечебнице сейчас, — смущенно перебил Степан Григорьич. Сейчас этот непонятный, строгий и возвышенный порядок вдруг обнаружил свое происхождение — зерном его была просьба Бориса помочь поместить в лечебницу душевно-больную библиотечаршу, а это было связано с неувимым впечатлением беспризорного, бегущего по улице. . . И это было то же, что сегодня говорил Борис, на всем был его, вдруг проступивший новый отпечаток.

— А Люша. . . ушла. . . — сказал Валька. Разом весь замолчав, Степан Григорьич схватился взглядом за узоры ковра. Он не видел лица Вальки, но слышал дрожь его голоса.

— Куда она ушла? — совсем ровно, без выражения, спросил он.

— Она к Володе. . . Я по Люше скучаю — по нашей. . . — Шопот его прорвался тоненьким всхлипом, и Степан Григорьич вдруг крепко прижал его к себе «Ничего. . . ничего. . . это пройдет. . .» шептал он Вальке. Но одновременно он этими словами отвечал тому внутреннему судорожному ознобу, который охватил его. «И вот не будет того, что создавало неустройцу и непонятную неправильность моей жизни», но эти слова не утешили его, а сделали больно, и он даже дернулся и еще крепче обнял Вальку. «Я люблю ее. . .» сказал он себе, слушая болезненную суету внутри себя, немые и быстрые движения уныния, злобы, обиды — все это он, стиснув зубы, не хотел выражать словами, но, преодо-

левая усилия воли, чувства эти все-таки превращались в слова — и против этих слов ничего нельзя было сказать. «Я ее люблю. . .» думал он, «и люблю ее так, как никого не любил — больше Наташи, хотя Наташа — лучше ее, и то, что было с Наташей, это мне не нужно сейчас, мне Люба нужна, но не такая, какая она есть, а другая. А мне плохо, плохо. . .»

Он желал ощущения ее тела рядом с собой — и его потрясала физическая дрожь от той холодной пустоты, которая была рядом. И он гладил и целовал притихшего, словно бы заснувшего Вальку, утешаясь его теплой детскостью. Так прошло несколько минут. Печаль сухая и злая падала как мелкий злой снег за окном, — и вся эта широкая площадь, и сиротливо жмущиеся пешеходы, и снежная крупа, победительно наискось несущаяся из улицы и облетающая с заледеневших крыш больших зданий, весь этот суровый облик зимнего города под черными флагами народного горя, все это — постепенно уравнивало его печаль, не уничтожая ее. . .

И Валька тоже вдруг зашевелился и сказал со вздохом:

— Я думал — она мама нам будет. . .

«Да, она не с нами, и с нами не будет», подумал Степан Григорьич о себе и Вальке вместе. «И все у меня разорено», думал он, глядя по голове уныло притихшего Вальку. Он вспомнил то новое, что обнаружилось в Борисе и в чем тоже была какая-то новая и опасная неправильность, связанная со словами Бориса о Ленине. «Да, а ее не будет, она — с другим, с молодым», — безжалостно думал он и морщился. «Но что же

мне — плакать? Ленин умер — и мне что-то нездоровится. . . » повторилось у него в памяти слова, слышанные два дня назад, — он лежал на верхней полке вагона, а внизу одно свиное рыло, уверенное, что никто посторонний его не слышит, говорило другому: «Ленин умер, мне что-то нездоровится. . . » Тогда он с трудом удержал себя от скандала, а сейчас эти слова звучали умно и зло — против него самого. . .

«Ленин умер, и мне, Степану Шорохову, видите ли, что-то нездоровится», подумал он, опять обретая свойственную ему, как темный цвет волос и лица, непреодолимую насмешливость. «Нездоровится — молодая жена ушла, сын вырос — начинает жить по-своему. . . » Вздыхая и морщась, он уже посмеивался над собой. «А все-таки в Туркестане — по-моему, а не по-твоему вышло, уважаемый товарищ», вдруг подумал он со злобой о воображаемом Эйдкунене-Горлине и достал уже бумаги из портфеля.

Раздался резкий телефонный звонок. Готовый говорить с кем-либо из московских товарищей, заранее приветливо улыбнувшийся, Степан Григорьевич приложил трубку к уху — и вдруг услышал искаженный телефонной картавостью и все же тот самый, низкий и сильный, недавно такой родной, теперь — так далеко отошедший, враждебный голос.

— Да, я слушаю, — сказал Степан Григорьевич, крепко вцепившись в трубку.

— Это ты, Степан? Я знала, что ты сегодня приедешь, — спокойно, очень спокойно, слишком спокойно говорит она. Он молчит. И, послушав его молчание, она добавляет: — Я тебе звоню, чтоб известить, что я родила. Хочешь приехать, взглянуть на сына?

«Сын, мой сын...» повторяет внутренне Степан Григорыч, «но как же дальше». И он неподвижен и нем, не может найти выход тому маленькому огоньку восторга, который разгораясь жжет все сильнее... И, чтоб не застонать в телефон, он уже стискивает зубы и мнет руками газету. «Что же это?» спрашивает он себя.

— Так что ж, хочешь? — и нехорошую радость слышит Степан Григорыч в ее голосе. «Она радуется, что мне плохо. Я вот любил ее и тосковал о ней, а об этом вот таком радостном и важном и заключающем все, как же я об этом не подумал? Но что же сейчас делать? Да она спрашивает что-то...»

— Что? — сдавленным голосом переспрашивает он.

— Хочешь приехать взглянуть на сына? — нетерпеливо и резко повторяет она.

— Да, — говорит он покорно и записывает адрес.

Ехать надо было далеко, на окраину, во вновь построенные дома. Степан Григорыч то глядел в окна трамвая, почти занесенные снегом, то, когда вагон останавливался, и новая волна людей вместе с морозным паром скоплялась вокруг кондуктора, он с неосознанным интересом вглядывался в те разнообразные, но искаженные одной гримасой холода лица, которые проходили мимо него.

Порой, словно очнувшись, он говорил себе, что едет смотреть своего нового сына. Но все в нем недоуменно молчало. Когда рожала Наташа, он чувствовал радость и горделивое самодовольство, и все это теснее сплетало его с Наташей. А сейчас он ехал получить удар от Любы — и не мог не ехать. Откуда возникла вся эта, мучительно запутанная, путающаяся все дальше зави-

симость? И он лихорадочно перебирал мельчайшие, совсем ненужные подробности того, что было между ними, — и упирался в тот миг, когда он вошел не постучавшись и увидел ее нагою. Постучись он — и ничего бы не было... В основе всего лежала нелепая случайность, она ворвалась в жизнь, она все в ней смяла, нарушила и превратила в хаос.

И он то и дело сгонял неосмысленную какую-то улыбку, помимо воли корчившую лицо, и растерянно и зло чертыхался.

28

В первой комнате всю стену закрывал ковер, черный и мохнатый, и на нем сверкали перекрещенные кривые шашки, клинки с узорными мусульманскими надписями, старинные пистолеты, тускло-ржавые и длинные. «Володя», подумал Степан Григорьич об этой хищнической воинственности и вспоминал Володю таким, каким он был на вечеринке...

Но из соседней комнаты он уже слышал низкие и нежные переливы Любиного голоса и то новое и самое важное, что произошло, какие-то звуки, неумелые, скрипучие и живые... И разом — развеяло все его другие мысли. И вот он уже на пороге новой комнаты... Там необжитые стены, выкрашенные в белесосиний цвет, неуловимый и пустой, в широкие окна светят снежные пустыри, и посреди простора комнаты, на ново-поструганной скамье, тускло поблескивает металлическая ванна, и Степан Григорьич встречает косвенный, настороженно-враждебный взгляд Любы, светлый и быстрый.

— Вот твой сын... — И, улыбнувшись только ртом,

она вынула ребенка из ванны, ловко обернула пеленкой и высоко подняла над собой. . . Против этого человека, непонятно надругавшегося над ее любовью, унизившего ее и навредившего ей, она заранее приготовила и эти интонации, и эту улыбку, и этот жест — и теперь торжествуя видела то, что хотела видеть, — его растерянный взгляд. . .

А Степан Григорыч отмечал, что румянец ее щек стал особенно ярок, почти груб, что в глазах ее была новая, знающая откровенность, они словно были освобождены от какой-то нежной пелены, застилавшей их ранее, что она остригла косу, и ее темно-ржавые кудри, крупные и золотящиеся, открыли ее крепкую шею, разом довершившую всю гармонию ее сложения — широкого и яркого лица и окрепшего, ставшего шире и словно бы нашедшего свои формы, тела. Ее неуловимая и юная прелесть исчезла, Люба стояла перед ним в законченной красоте зрелости, и он видел в ней свою же горячую страсть, свои же веселые и нежные ласки. Все то кровное, что он отдал ей, как бы просвечивало изнутри ее преображенного облика и сейчас ставило ее против него. И сосредоточие ее враждебности было в том — живом и новом, ранее не существовавшем, что она высоко, словно грозя ударом, держала в руках, — а оно извивалось и судорожно сокращалось и скрипел его голос, не похожий на человеческий, и ему, видно, так мучительно внове было жить. . . Оно глянцевито-багрово обтекало мыльной водой, и мыльная вода тускло поблескивала в металлической ванночке, в лужах, разлившихся по желтому линолеуму, и неясное уподобление этого мига — другому, когда мыльная вода разлита была по линолеуму и то же тело обте-

кало водой — ее тело, и он такой же, как сейчас, растерянный и лишившийся своей силы, стоял перед ней — вдруг возникло в его сознании. И в этом уподоблении двух моментов он вдруг ощутил словно вдох и выдох — какое-то единое и широкое дыхание, и он невольно сам широко вдохнул и выдохнул, словно тут же сливал в единое дыхание, во вдох и выдох — тот апрельский день и этот февральский. Это ощущение не было еще называемо словами, но он весь бережно и чутко напрягся, поднимая его в себе, и вместе с тем, как яснее и осознаннее становилось это новое его ощущение, вместе с этим мернее, шире и спокойнее становилось его дыхание. И Люба заметила, как что-то успокоенно-счастливое, почти торжествующее стало проступать в его лице, и она дрогнула — это было то самое лицо, которое она любила, эта широкая и ласковая расстановка глаз и умный веселый рот, и приятная смуглота, и она глубоко вздохнула, с горечью почувствовав, что, если б он так не обошелся с ней, она б могла его счастливо любить... Она вдруг ощутила бесцельность угрожающей своей позы, вытерла ребенка и положила в ново-оструганную, пахнущую свежим деревом, колыбель, и Степан Григорьич подошел ближе — так, чтоб видеть ребенка. Ребенок разевал беззубое подобие рта, и, сухой уже, он, лежа на спине, двигал мельчайшим подобиями рук и ног, — еще не окостеневшие, еще не превратившиеся в автоматы работы и ходьбы, они двигались как щупальцы свободно и жадно. И, целиком воплощая себя в движения этой неосознающей себя жизни, Степан Григорьич наслаждался тем восторгом, который при телефонном разговоре с Любой так жег его своей невыразимостью и который

сейчас определился как любовь к этому начинающемуся существованию. Любовь к ребенку — она колебалась прибывала, как колеблется прибывающая вода, — и эту любовь, как раньше при рождении старших детей, не заглушала ни нежность к его матери, ни чувство возросшей связи с ней — сейчас это была чистая, словно отцеженная радость продолжения себя, своей жизни, конечное выражение того, что овладело им, когда он увидел ее нагою. . . «Разве это было случайно?» спросил он, теперь легко освобождаясь от обессиливающего ощущения случайности всего того, что было с Любой. «Почему же я тогда постарался тихо уйти из комнаты, чтоб она не заметила? Почему до сих пор не сказал я ей, что увидел ее нагою и что с этого началась моя любовь к ней? Да разве раньше я уже не любовался гибкостью ее движений, женской зарождающейся прелестью ее? Но я говорил себе, что умиляюсь молодю, сменяющей нас волной революции». И он вдруг увидел ясно и открыто внутреннего своего Эйдкунена, вот он — близорукий лицемер и прикрыватель, который, чтоб помочь ему сойтись с Любой, построил теорию о воспитании ее, как революционной смены и который, чтоб помочь ему разойтись с Любой, прикрасил его воспоминания о Наташе и заставил этим никогда не существовавшим идеальным — мерить свои отношения с Любой. . . А совсем не поэтому, совсем не поэтому должен я был разойтись с ней. . .» думал Степан Григорьич.

Люба ожидала растерянности Степана Григорьича, она была уверена, что он захочет видиться с ребенком, считаться его отцом, а она небрежно заявит, что ребенка усыновил Булавин, что ребенок будет носить его

фамилию, что даже назвала она его по Володе — Владимиром. . . Но она видела, что, приехав неуверенным и пристыженным, Степан Григорьич, глядя на ребенка, как-то непонятно прояснился и успокоился. Она ожидала, что заговорит он, заговорит просительно и смущенно, но он все молчал, и спокойная сила все нарастала и нарастала в нем. И ей уже нельзя было молчать, и она сказала то, о чем думала. . .

— Я его Владимиром назвала. . . — сказала она. — По Ленину, — добавила она, покраснев и этим сводя на нет весь план поражения Шорохова. «Он верно догадался, что не по Ленину, а по Володе», думала она, краснея. «Да что же он молчит, ведь я же не соврала, что так сказала: ведь мы же и Ленина имели в виду», — мысленно подбирала она оправдывающие слова и краснела. . .

«И это все тоже Эйдкунен», думал Степан Григорьич, и давно его мысль не шла так полнокровно, с такой смелостью и освеженной силой как сейчас. «Это все Эйдкунен, мой внутренний Эйдкунен, подсовывавший мне мои отношения с Наташей, как идеальное, но вот Ольга и Горлин, их кичливое оттораживание от Селима — от жизни трудящихся людей страны — и самоутверждение в своем семейном мирке — и то, что они называют ребенка по Ленину. Это все недоосознание того, что они называют ребенка по Ленину. Это все недоосознание того, что существует, это все скрывание его, вот почему я оказался бессилен перед наготой Любы; застывшая форма скорби по Наташе, нежелание чувствовать в себе неисчерпанные силы любви — это все Эйдкунен, кичливое, поверхностно-правильно самоутверждающееся прикрывательство, бес-

сильно пасующее перед всем неосознанным и стихийным, как спасовал Соловьев перед своим гневом.

«А ведь раньше я любил Эйдкунена и как мы хорошо вместе работали. И он был мне полезен и нужен, — пока не проник в меня и не стал мною командовать. А теперь поставлю его на его место, и снова будет он работать под моим началом.

«Он недоволен будет, когда узнает, что сын его будет Булавин», опасливо подумала Люба, замечая все возрастающее выражение решимости на лице у Степана Григорьича. «И это ж нельзя, чтоб он был Булавин. Ведь он же его сын — Шорохов. . .» И опять неожиданно для себя она сказала вслух: — Шорохов, Владимир Степанович, — и склонилась над его колыбелью. — Дуся ты моя, киса. . . — сказала она немного исступленно, так же как во время ласк говорила Степану Григорьичу.

И он вздрогнул — ощущение ее ласки прошло по его телу, но тут же сразу затихло, — тело странно, по-новому, отвергло эту ласку. «Что ж это? А ведь это больше пожалуй, мне не нужно? Стало быть эта была моя последняя любовь?» грустно и ясно спросил и ответил он. «Ведь, пожалуй, вот она — старость. . .» Новый возраст пришел так же не странно, не похожий на то, каким ожидался как и прежние. Он пришел, — в первое чувство, которое он принес, была освобождающаяся легкость, с какой тело сбросило уже ненужные и утомительные наслаждения страсти. . . Он словно всходил на хребет, и тяжелые и мучительные перепетии его любви с Любой были крутым путем этого восхождения — и вот он стоял уже на высшей точке и видел впереди далекие золотисто-теплые счастливые туманы

новых хребтов. «Я на них уже не буду», подумал он, впервые ощущая свое уничтожение не как страшное слово смерть, ему противостоящую силу, которая жестоко поборет его, а как то, что в нем происходит, в неотделимой связи от того, что он называл жизнью. И он с небывалой силой почувствовал, что те главные мысли, которые его сопровождали всю жизнь, не только они включены в его жизнь, но и он весь включен в волну этих новых мыслей, идущих в мир, и он исчезнет, а эти мысли — они завершатся вон на тех далеких, сейчас только открывшихся вершинах.

Люба ходит по комнате, она баюкает ребенка и поет извечную материнскую песню, — и инстинктивная, оберегающая и хищная сила в ее гибких движениях и хрипловатых, словно влажных оттенков ее воркующего и низкого голоса, — и в своей сияющей молодости она древняя и хищная, как Володино старинное оружие на черном ковре, и вдруг Степан Григорыч себя, по сравнению с ней, ощутил новым, только вот родившимся — словно это он сейчас вот родился и должен расти. И в пустоте и необжитости этой большой комнаты он отметил чуть обозначающиеся элементы Любиного семейственного мирка — пестрая вышивка на подоконнике, новенькая мясорубка поблескивает в углу и разношенные уютные туфельки под кроватью, — и он увидел все это — ранее столь милое, как проявление старого врага, стихийно повторяющие себя извечные и ненавистные формы жизни. Он с ними боролся всю жизнь, всю жизнь он срывал с них лицемерные маски и обнаруживал их, и сейчас он открыл их в себе, это их прикрывал его внутренний Эйдкунен. И никогда он так глубоко и зрело не был вооружен, как

сейчас, и он остро и холодно взглянул на Любу так, как смотрят на врага, когда измерили его и свою силу.

И, ощутив холодную, враждебную и непонятную силу его взгляда, она вздрогнула, и гримаса гнева оттянула вниз углы ее рта и наморщила нос, и эта гримаса сразу напомнила Степану Григорьичу, как она ударила Бориса.

— Он — мой... Я не отдам его тебе... — глухо, низко и грозно зарокотал ее голос, и, положив ребенка в колыбель, она склонилась над ним.

«Да, она ударила Бориса — и вот отсюда у Бориса эта мечта о детских коммунах, но все это потому, что мне некогда было думать о том, как растут мои ребята, — но ведь всю жизнь я боролся». И он разом вспомнил немое и пустынное лицо страны в окне вагона, и широкий Туркестан, и уральские заводы, и сразу все его ранее накопленные и недодуманные мысли получили довершение в том, что он ясно понял неправильность слов Бориса о Ленине, опасность замыкаться только для себя в идеальные коммуны, в то время как извечный и изменчиво меняющий одежды, старый враг вот он — вон как охраняет она это новое существование...

И Степан Григорьич уже ощущал Бориса рядом с собой как своего союзника, и он желал сюда, в эту пустую и необжитую комнату, тот новый, возвышенный и ребяческий порядок, который господствовал в его квартире.

И Степан Григорьич подошел к колыбели, и Люба протянула над ней сильные свои руки, и он видел золотящийся пушок на них.

— Да, я не отдам, я не отдам его тебе... — повто-

ряла она, и опять он слышал в ее голосе гневный рокот. — Ты меня бросил, а теперь его хочешь отобрать...

— Я, Люба, не хочу отбирать его для себя... но я хочу сделать так, чтобы ты и уклад твоей жизни не могли его покалечить... — спокойно сказал он. — И об этом нам надо с тобой говорить.

Она вдумывалась в непонятные, но враждебные ей слова и молчала. Молчал и он. Ребенок спал — и величественная, но еще неосмысленная сила широких пустынных полей была на его воспаленном личике. И они стояли по обе стороны его колыбели — сосредоточенные и враждебные друг другу и готовые к новой борьбе.

ЧИТАТЕЛЬ

Заполнив и опустив в почтовый ящик анкету, ты тем самым содействуешь продвижению книги в массы трудящихся, удешевлению и улучшению качества книги.

Подчеркни готовые ответы и опусти анкету, без марки, в ближайший почтовый ящик.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КНИГОВЕДЕНИЯ

Автор *Либединский Ю.*

Название **„РОЖДЕНИЕ ГЕРОЯ“**. Роман.

- 1) Где куплена книга (в городе, почтов. отделен., селе, в книжном магазине, потребительск. лавке, киоске, у книгоноши).
- 2) Что побудило Вас купить именно эту книгу:
 - а) заинтересовало название, тема, обложка, иллюстр.,
 - б) подготовка к докладу, кампании, учеба,
 - в) интерес к автору.
- 3) Откуда или от кого узнали о книге:
 - а) из объявления или отзыва в газете, журнале (название.....) из каталога, проспекта, обложки других книг,
 - б) увидел в витрине, на прилавке, внутри магазина на выставке,
 - в) посоветовал купить товарищ, преподаватель, библиотекарь, продавец, члены семьи.
- 4) Укажите Ваше социальное положение: рабочий, служащий, крестьянин, учащийся, кустарь.
- 5) Член ВКП (б), ВЛКСМ, беспартийный.
- 6) Пол: мужчина, женщина.
- 7) Возраст: до 15 л., от 15 до 20 л., от 20 до 30 л., от 30 до 40 л., от 40 л. и выше.

ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСЫЛКЕ СБОР ВЗЫСКИВАЕТСЯ ПРИ ВЫДАЧЕ

ЛЕНИНГРАД

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ
КНИГОВЕДЕНИЯ

ФОНТАНКА, 21

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ

В Ы С О Т Ы

Драма в 4-х действ. и 8 карт.

(Современная пролетарская литература)

Стр. 168.

Ц. 1 р. 25 к.

Основные командные высоты, на которых мы держимся в условиях капиталистического окружения, непрерывно подвергаются атаке со стороны враждебных нам сил. Одиночки - руководители, стоящие на этих высотах, могут колебаться и подвергаться воздействию враждебных классов. Но партия в целом эти отдельные ошибки легко исправляет, оказывая моральную поддержку на время пошатнувшимся товарищам.

Все эти вопросы являются основой содержания живой и интересной пьесы Ю. Либединского.

Покупайте книги в магазинах и отделениях Госиздата

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1930 ГОД
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
литературно-художественный и общественно-политический

З В Е З Д А

под редакцией Д. БЕЛИЦКОГО, А. ЛЕБЕДЕНКО, Ю. ЛИБЕДИН-
СКОГО, В. САЯНОВА, А. СТЕЦКОГО и Н. ТИХОНОВА

ДВЕНАДЦАТЬ КНИГ В ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ГОДОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

А. С. ПУШКИНА

в 6 томах

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

на журнал „Звезда“

без приложений на год	10 р. — к.
на 6 месяцев	5 р. — к.
на 3 месяца	2 р. 50 х.
с приложением собр. сочин. А. С. ПУШКИНА в 6 томах	15 р. 25 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

Сектором подписных и периодических изданий Госиздата:
МОСКВА, Центр, Ильинка, 3, телефон 4-87-19 и 5-88-91;
ЛЕНИНГРАД, Просп. 25 Октября, 28, тел. 5-48-05, 6-62-63
в магазинах, киосках и отделениях Госиздата, у уполномо-
ченных, снабженных соответствующими удостове-
рениями, во всех киосках Всесоюзного контрагентства пе-
чати, а также во всех почт.-телегр. конторах.